
КРУПНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖАНР: ПОВЕСТЬ

Игорь Карлов

(г. Эль-Кувейт, Государство Кувейт)



**ДВАЖДЫ КРАСНОЗНАМЕННАЯ ПОВЕСТЬ
ИМЕНИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
ЦК КПСС, ПРЕЗИДЕНТА СССР
ГОРБАЧЕВА М. С.**

(Глава из повести)

Лауреат Всероссийской литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова. Наш постоянный автор.

Ниспосланная на землю капсула с Роговской диатрибой оказалась настолько мощно заряжена сарказмом, что превратилась в настоящую бомбу. Сардонический фугас со всего маху ударился о скрипучие доски пола общежития, прошел межэтажные перекрытия, проломил и сам фундамент здания, прошел через глинистый пласт почвы и вкатился, наконец, в какое-то подземное озеро, где соглашательской кистеперой рыбой плавал Чернышев.

От неожиданного вторжения испуганное ископаемое рванулось в сторону, попыталось скрыться в толстом придонном иле, но, оглядевшись и удостоверившись, что немедленного взрыва не последует, забулькало примиряюще: «Да чего вы завелись, мужики? Общего у нас гораздо больше, чем различий. Давайте спокойней. Сядем с пивком, поговорим ладком. Так-то оно лучше будет. Правда же: давайте возьмем пивка, тараночки, вот все и обсудим. Без нервов, без надрыва. Давайте, давайте! Что такое? Пива нет?.. Ну, конечно, извечное наше «Пива нет!» — Чернышев принялся тоскливо метаться в мутноватой воде от берега к берегу.— Сколько себя помню, столько помню и это: «Пива нет!» Отец мой пытался уразуметь смысл бумажки с таким объявлением на закрытом наглухо павильоне «Пиво — воды»; старший брат изучал эти слова, начертанными фломастером на картонке; для меня их старательно вывели выжигательным аппаратом на красивой фанерной табличке; а сын мой, наверное, уже в букваре прочтет: «Пи-ва не-ет». Надпись эта мистическим образом проступает у нас повсюду, словно «мене, текел, фарес». Вот почему же у нас никогда пива нет? Ну, почему? Я правда не понимаю. Ведь «Пива нет!» у нас не реже пишут, чем «Вперед, к победе коммунизма!» Получается, воюют две надписи: «Вперед, к победе коммунизма!» и «Пива нет!» А в войне вывесок всегда побеждает та, что короче, доходчивее, насущнее. Сперва дайте людям пива, а тогда уж стройте социализмы, коммунизмы, что хотите стройте, но только сначала дайте людям пива!»

В ответ мужики скосоротились как по команде: ну, пошел рубить правду-матку! Однако усмехнулся каждый со своим отношением — кто сочувственно, кто иронич-

но, а кто возмущенно. Рогов, например, не мог взять в толк: «Причем тут пиво? Что, нельзя подождать с пивом до окончательной победы революции?! О каком пиве вообще можно говорить, когда, в самом деле, идет война, только это война не вывесок, как полагает наш лабазник, это война идей». Иммануил закатил глазки в притворном смирении: «Как ни прискорбно, идея революционного служения изжила себя. Победила идея приватности. Аминь!» Саша в ответ вспылал (впрочем, больше из духа противоречия, чтобы только не соглашаться с вызывавшим гадливость тартюфом): «Но послушайте! Идея нерушимости прав индивидуума не отменяет идею социальной справедливости! Уверю вас, что за частым частоколом частной жизни рано или поздно захочется нам увидеть величественные стены замка справедливости!» Шамсутдинов поддержал Рогова и Сашу: «Я тоже считаю, что социалистическая идея окончательно не погибла! Она отошла на заранее подготовленные позиции». Видя, что против них действует целая коалиция, Чернышев и Иммануил наперебой заклекотали обеспокоенными воронами, стараясь заклясть контрагентов.

Водяной воронкой журчали голоса спорщиков, затягивали медлительным водоворотом. Очень хотелось узнать, что там — с обратной стороны их разговоров. Рогов тихонько и неглубоко нырнул в омут смысла, но обнаружил лишь пустоту, зыбкую, зябкую пустоту. Разочарованный пловец попытался подняться на поверхность. Бесполезно: вязкая жижа уже не отпускала. Конвульсивные рывки наверх, к воздуху, несколько не приближали спасения, лишь отнимали силы. Асфиксия мутила разум, лишала воли, обездвиживала тело. Непреодолимый смертный ужас охватил слабевшего с каждой секундой утопающего...

Очнулся Рогов оттого, что почувствовал чью-то сильную руку на своем плече.

— Ты чего, земляк? Чего ты стонешь-то? Э-э! Да ты кемаришь! — Чернышев, тряся Рогова, чуть присел и внимательно заглянул ему в лицо. — Сон страшный увидел? А я-то думаю: чего он все молчит!

Рогов встрепенулся и, полуслепой со сна, испуганно оглядываясь, часто-часто заморгал. Взоры всех собравшихся были обращены к нему, и первое, что почувствовал спасшийся из пучины своего сновидения бедолага, — теплое, искреннее участие окруживших его людей. Все разглядывали Рогова с веселым недоумением, но без издевки, без пренебрежения. Особенно внимательно, с какой-то даже тревогой смотрела ему в глаза Маша; Рогов поразился тому, какой глубокий, всепонимающий и всепрощающий у нее взгляд. Да и лица ее женихов, ее отца показали настолько доброжелательными, что Рогов невольно улыбнулся им. В ответ на эту кривую глуповатую улыбку не до конца проснувшегося человека сгрудившиеся вокруг Рогова мужчины недружно и негромко хохотнули.

Чернышев предположил:

— Да ты, парнишка, никак пьяненький! А что? Мысль неплохая, — Чернышев вытянул из кармана кошелек. — Что, женишки непутевые, скинемся? Художник! Сгоняешь за выпивкой? Не в обиду: ты же помоложе всех получаешься. Сгоняешь?

Пожалуй, так и следовало бы им завершить этот странный день. Пожалуй, Чернышев, привыкший незамедлительно (хотя и грубовато) переводить решение любых вопросов в практическую плоскость, угадал единственно правильный выход из нелепой, угнетающей ситуации, в которой по легкомыслию оказались незадачливые искатели руки и сердца дочери Виктора Алексеевича.

Именно Чернышев, кутила Чернышев, тот самый Чернышев, который числился завсегдатаем нескольких городских ресторанов, лучше других был осведомлен, что человек с человеком сходится не по принципу лотереи, а по определенной логике, куда не разьясненной широкой общественности в научных терминах, но четко проследимой в повседневной практике. Чернышев первым подтвердил бы: есть своя закономерность в том, кто, с кем и зачем сталкивается на жизненном пути. Есть своя закономерность и в том, что любая компания, сколь бы случайной и разношер-

стной она ни казалась, неизбежно в более или менее полном составе окажется за одним столом. И неизбежно в центре того стола возникает бутылка водки.

Самые досадные ошибки и самые жгучие обиды забываются за таким столом. Смущение после самого сумбурного разговора, после самого нелепого происшествия без остатка растворяется в пол-литре. Самые сложные темы становятся понятны, самые бредовые прожекты представляются реалистичными, а самые извращенные порывы кажутся извинимыми после появления на общем столе бутылки водки.

Вот стоит она на потертом шпоне, на корявом горбыле, на чуть потрескавшейся полировке, на праздничной плюшевой скатерти, на мятой тряпице, а то и на газетке; плотно стоит, основательно, таким центром застольной вселенной... В резком световом потоке свисающей на длинном проводе лампочки-сироты, в приглушенном старомодным абажуром сиянии домашнего уюта, в лучах парадной хрустальной люстры бутылка искрится небывалым бриллиантом, отбрасывая вокруг колеблющиеся блики. Пьянящая самим видом своим чуть маслянистая влага за толстым стеклом переливается ртутью, жидким серебром, а там, где широкими полосками клея прихвачена этикетка, расплываются радужные пятна.

В обманчивых всполохах водки мерещится какая-то загадка, к постижению коей приближается каждый пьющий с каждым наполненным стаканом на протяжении веков... Но глубока утробно булькающая тайна. Не стаканами ее черпать. И вот уже падают под стол отгадчики, вот уже катаются по полу пустые бутылки, словно стреляные гильзы. По мере осушения мистический сосуд превращается из алмаза в обычную стеклопосуду с заранее известной залоговой стоимостью, в тару, с которой теперь столько возни: собирать, споласкивать, тащить в приемный пункт (еще работает ли?!), стоять в очереди, обменивать на копейки...

Нескончаема битва между водкой и людьми. У коварной водки много союзников: бормотуха, колыхающая подобные водорослям мохнатые подонки, мутная сивуха-самогонка, лосьоны-одеколоры — презренные парфюмерные перебежчики. Но водке все мало: она открывает границы бесцеремонным интервентам, призывает на подмогу бренди из Болгарии, псевдоитальянские псевдоликеры, заграничный «питьевой» спирт... Агенты водки прячутся в тубиках с клеем «БФ», маскируются под лекарства, разлитые в пузатые пузырьки (вот, тоже, двурушники: всем своим аптекарским видом стараются показать, что не имеют никакого отношения к горячительному, а на самом-то деле — о-го-го!). А тормозная жидкость? А стеклоочиститель? А бензин, наконец?... Все это, конечно, уже не искрится, не манит невысказанной тайной, но валит людей не хуже водки.

А люди... Что люди?... Люди слабы и наивны, им все кажется, будто победа будет за ними. Очертя голову они снова и снова наполняют свои стаканы, самоотверженно опрокидывают их содержимое внутрь себя, поначалу стараются держаться молодцами, но постепенно лишаются сил и рассудка, снопами валятся наземь. Какое-то время лежат недвижно, словно трупы, словно увечные или контуженные.

Но баталия-то ненастоящая, вроде мальчишечьей дворовой забавы, которая завершается не иначе как героическим кувырканием всех участников на вытоптанном пустыре. Сошедшиеся в финальной схватке сопливые воины один за другим покиношному оседают наземь и замирают, лежа вповалку. Их тельца непроизвольно подрагивают от перенапряжения; их сердечки бешено колотятся, едва справляясь с пульсацией разгоряченной крови, бьются о ребра с такой силой, что, кажется, вот-вот разнесут грудную клетку вдребезги. Однако лежать надо смиренненько, учащенное дыхание нужно изо всех сил (до спазмов, до удушья!) сдерживать, плутовски подрагивающие веки необходимо смежить, хотя бы неплотно. Конечно, если уж совсем одолело любопытство, то неписанные правила разрешают разок-другой оглядеться, только не размыкая слезящуюся сеточку полуприкрытых ресниц и со стоном, как бы в предсмертном бреду. И хитрющие улыбки, нечаянно проступающие на довольных

чумазных лицах, следует прятать, чтобы кто-нибудь, кто может наблюдать за происходящим сверху — не то из открытого окошка в соседней рабочей общаге, не то из бездонной голубизны летнего неба — оценил бы достоверность славной игры...

Над пустырем, оглохшим от исступленных выкриков и несмолкаемой трескотни игрушечного оружия, повисает тишина... Но вот, отражаясь эхом от стен окружающих зданий, по-петушиному вспорхнул чей-то задорный фальцетик: «Хорэ, пацаны!» — и войнушка окончена. Застывшие в картинных позах игроки начинают шевелиться, переговариваются, встают. Удовлетворенная добросовестно исполненной ролью детвора отряхивает запыхавшиеся шаровары, трико, облепленные травяной трухой, и разбегаются по домам, чтобы в другой раз снова сойтись в потешной схватке... Взрослые же ведут несамоунижающую войну с водкой, причем делают это с таким же ребячьим азартом.

А уж мужчинам, собравшимся в тот день в комнате на четвертом этаже рабочего общежития, было просто необходимо дать водке решительное сражение, по-настоящему эпическое, такое, о котором со вкусом рассказывали бы через годы, такое, последствия которого полностью заслонили бы собой цель появления здесь непрошенных гостей. Конечно, и Чернышев, и Саша, и Рогов, и Иммануил, и даже Шамсутдинов, хоть он не пьет, предпочли бы накиряться вразг, только бы не объяснять никому (а первым делом — себе), отчего вдруг каждого из них переполнило противоестественное, но непреодолимое желание взять в жены незнакомку. Проще было бы уйти в запой, пропасть в хмельном чаду, кануть в череду безобразных дебошей, чем внятно изложить, зачем они с таким упорством, несмотря на необъяснимое томление и смутные страхи, стремятся возложить на себя отцовские обязанности по отношению к чужому ребенку, имеющему родиться в ближайшем будущем.

Пока же ясно одно: нутро нестерпимо саднит, а потому надо срочно прижечь его спиртом, продезинфицировать как следует. И где только угораздило так сильно, до кровянки, травмироваться? Наверное, в тамбуре на входе в общежитие. Там еще крюк болтался, длиннющий железный крючище, которым запирают двери на ночь, крюк настолько ужасающего вида, что сгодился бы пыточных дел мастерам. Об этот гак, видно, душа ненароком и тесанулась... А кому-то, возможно, разворотила грудь бензопила марки «Баба Дуся». Та, если заведется, не только черепную коробку вскроет своим визгом, но и всего тебя может распластать надвое, от затылка до копчика. После подобного повреждения душе уж точно не удержаться в теле, и вот она, тяжеленькая такая, сочно чмокнув, шмякнулась на пыльный кафель вестибюля.

Волоча за собой душеньку, оставляющую влажный быстро испаряющийся след, поднимались женихи по заплыванной лестнице, тащились по немытому коридору и как будто даже измызгали психею на коммунальной кухне и в общем сортире. Эткими-то, по дороге собравшими всю грязь мира, явились они к Марии, предстали друг перед другом и вынуждены были наизнанку выворачиваться да каждому под нос совать самое заветное: «На, пощупай! Вот оно, естество мое. Вот я с чем живу, вот я с чем сюда пришел». Ох, как стыдно им было сейчас за свою душонку, неприбранной выставленную на всеобщее обозрение!

Каково, скажем, Рогову раскрывать сердце коммуниста в присутствии классового врага — Чернышева? Чего стоило склонному к исихазму Шамсутдинову пуститься в откровения, да еще с людьми, стоящими на социальной лестнице ступенькой ниже? Легко ли было Саше выдать на позорище грезы беспросветной своей любви? Чем грозило Иммануилу раскрытие замысла о сектантском поселении?..

Те заветные мечтания, которые лелеял в сосредоточенной тишине мнительный отшельник рассудок, теперь впервые были высказаны вслух — без обиняков и для чужих ушей. А будучи высказанными, самые что ни на есть задушевные задумки предстали настолько примитивными, нелепыми, идиотскими, аж тошно стало. Как это часто происходит, высокая путеводная идея, зародившаяся из мучительной суеты

жизни и выношенная вопреки всем ударам судьбы, в тот самый момент, когда она была, наконец, оглашена для града и мира, предстала плодом размышлений неразвитого инфантильного сознания, возвышенно-сентиментальной утопией, позором своего создателя.

Но и отмолчаться оказалось невозможно! Даже ясно понимая убожество или преступность своих намерений, присутствующие обязаны были без утайки объявить их перед лицом изысканнейшего собрания неудачников, пьяниц и психов. Почему так получилось? Зачем это делалось? Они сами не вполне отдавали себе отчет, однако странным образом завязавшаяся беседа с первых слов пошла так, что каждый выкладывал всю подноготную, в ответ ожидая от других подобной же откровенности. Группа неврастеников словно под гипнозом исполняла отвратительный духовный стриптиз.

Под взорами бесцеремонных созерцателей оголенная душа зябко подрагивала, еле слышно попискивала, как, по рассказам бывалых людей, пиццат поедаемые устрицы. И любой-то мог ее, голубушку, грубо выковырнуть из раковины, сжать лапшей, поднести к самому лицу и долго рассматривать с видом пресыщенного ресторанный критика. Затем — две-три пометки в блокнотике, и придиричивый осмотр продолжается: предмет изучения отстраняется на расстояние вытянутой руки и то разглядывается на просвет, то отводится в тень... Ну куда вы тянитесь грязными руками?! Чего хватаете?! Ведь она и так еле жива! Где теперь отмыть душу от ужасных пятен? Как лечить ее от синяков? Сколько времени придется прятать ее в полуподвале одиночества, прежде чем она сможет вновь предстать перед миром? Да и оправится ли она вообще после содеянного насилия? А вдруг станет отныне ныть-побаливать к перемене погоды, подобно застарелым ранам и переломам?..

Насколько же глупо все получилось! Просто зло берет!.. Да, прав Чернышев: необходимо хорошенько дерябнуть, чтобы алкогольной анестезией купировать душевные конвульсии... Или хотя бы по стопке опрокинуть, а там разыграть комедию: притвориться окосевшими до невменяемости, покуролесить чуток, да и разойтись по одному, без объяснений, без прощаний, без новых встреч. Тогда появляется шанс остаться в памяти окружающих не неприлично разоткровенничавшимися прожектерами, но слегка подгулявшими безобидными чудачками.

И вот незадачливые женихи готовы кривляться, словно коверные, лишь бы дезавуировать пафос только что отзвучавших пылких речей. Сейчас каждый из них старался опередить других и лично осквернить руины воздушного замка своей мечты, той крепости, того дворца, того узилища, которое возводилось долгой и напряженной работой трудолюбивого интеллекта, а разрушилось с ошеломляющей легкостью от первого же стороннего (кстати, не слишком критического) суждения. Каждый торопился как можно скорее и злее насмеяться над своими развенчанными фантазиями, поскольку от косога взгляда чужака (не говоря уже о взгляде чуть насмешливым) душа, окончательно заледеневшая на сквозняке бессмысленных в своей прямоте разговоров, непременно займется гангреной и начнет гнить, разлагая человека изнутри; если же поторопиться и собственной рукой ввести себе вакцину издевки, есть надежда спастись, избежать полного распада личности. Ну а решиться на болезненную прививку самоиронии гораздо легче подшофе.

Да и Виктор Алексеевич не отказался бы хлобыстнуть водочки. Он пришел к твердому убеждению, что без бутылки никак не разобраться в диковинных порядках, заведенных горожанами. В ту самую минуту, когда автобус со звездобразной отметиной на стекле, скрежеща, вкатился на улицы областной столицы, крестьянин нутром почуял, что попался в западню, из которой без повреждения ума не выбраться. И весь следующий день знатный бригадир напоминал себе муху, залипшую в меду: тягучая сладость непонятого, враждебного уклада засасывала с садистской медлительностью. Некоторое время Виктор Алексеевич пытался трепыхаться, жужжать по-

своему, по-деревенски, но только глубже погружался в приторную тряси́ну; стало ясно, что вскоре не окажется ни сил, ни воли, чтобы шевельнуть онемелой от перенапряжения лапкой или отяжелевшим крылышком. Товарищу Володину, славившемуся в своем колхозе непреклонным нравом и рассудительностью, предстояло навсегда застыть в медовом болоте всяческих несуразностей, раздражая своим неэстетичным видом брезгливых городских лакомок. С приходом же подозрительных кандидатов в зятя абсурд происходящего достиг апогея, а угроза полной потери рассудка обрела черты суровой реальности.

Поэтому (напоследок, пока в здравом уме) не грех было устроить хорошую попойку. Смейся, не смейся, а бутылка, если и не помогает реально разобраться в хитросплетениях развилок горестного дальнего пути, то, по крайней мере, избавляет от растерянности, тревоги, подавленности, коие подстерегают всякого смертного на житейских перекрестках; пусть ненадолго, но избавляет. Когда же на горьком опыте убедишься, что твоя стезя — вся, вплоть до незначительнейшего, анекдотического поворотца — заранее предначертана трансцендентным фатумом, не внемлющим ни горячим мольбам, ни прекраснотдушным пожеланиям, ни логическим доводам, то вновь устрой хорошую попойку, созови самых экспансивных собутыльников, ни на миг не сомневающих в том, что управляют строптивой судьбой по личному произволу, и попробуй зарядиться их бесшабашным энтузиазмом. А коль скоро надсадный разгул не разубедит в том, что роковая предопределенность участи стала твоим проклятием, тем более стоит устроить хорошую попойку!

Возможно, так все и вышло бы. Уже зависла в комнате напряженная пауза, подобная томлению природы перед приближающейся грозой, тревожное затишье, односторонне свидетельствующее: бури не миновать. Уже в глазах Чернышева разгорался жгучий красноватый огонек, тот самый, который невзгоды да годы раздувают во всепожирающее пламя алкоголизма; уже Иммануил, пытаясь сдержать змеившуюся на губах мефистофельскую улыбку, нервически потирал ладони, спрятанные в складках балахона; уже Шамсутдинов деловито оглядывал помещение на предмет наличия чистых стаканов; уже заерзал на своем месте Рогов, соображая, какой взнос в складчину он может себе позволить, чтобы избежать перерасходования столь необходимых для продолжения революции и столь скудных денежных средств; уже Саша приподнимался со стула, чтобы бежать за выпивкой. Возможно, так все и вышло бы.

Но их остановила Мария. Не позволила закончить день великих открытий пошлой пьянкой. Заговорила в первый раз за время мучительной для всех собравшихся беседы; неожиданно подала голос, повергнув в оторопь мужчин, почему-то считавших ее пассивной слушательницей, заранее согласной на все; откликнулась на отзывавшие речи своеобычным женским эхом.

Парадоксальным образом муторный сюрреалистический фарс, разыгравшийся перед ней сегодня, вызвал у Марии сугубо интимные переживания, острый приступ рефлексии над тем, что быть женщиной — значит быть желанной, необходимой для многих. Девчонке на пороге взросления столь щедрый подарок судьбы мог бы вскружить голову, но Марии Викторовне опыт подсказывал: на самом-то деле женская манкость является, скорее, половой повинностью, налогом на естество. Привилегии женщине дарованы иные, от века и вовек никому более недоступные. Вот, скажем, право выбора. В жизни все устроено настолько хитро, что наружно представляется, будто выбирает не женщина, будто выбирают ее; но глаза говорили Маше обратное: она видела перед собой пятерых мужчин, пришедших сюда не только без каких-либо ухищрений с ее стороны, но даже сверх ожидания, и теперь покорно ждавших ее решения; и пусть ждут, и пусть изводятся в сомнениях, пока господня определяет участь холопов... Впрочем, величайшая женская прерогатива, конечно, не в выбраковке представителей противоположного пола. Женщине дана уникальная способность увеличиваться и продолжаться, длиться в пространстве и времени. Она

постоянно дробится в том, что производит на свет, и постоянно соединяет дробность в целое своей любовью. Сия сокровенная тайна органически недоступна мужскому пониманию. Лишь складывая вместе свои куцые представления о действительности, лишь сливая воедино свои неразвитые эмоции, мужчины могли бы приблизиться к тому, чтобы разгадать женщину. Наверное, для такой попытки и собралась здесь нынче пятерка случайных гостей.

А Мария с их приходом впервые осознанно почла себя Невестой. Неожиданно высветился потаенный смысл этого древнего слова, этимология его раскрылась настолько наглядно, что мимолетная радость лингвистического открытия сменилась оторопью, а затем и неотступным суеверным страхом, поскольку языковое изыскание, чисто умозрительное по первому впечатлению, на деле оказалось определяющим для судьбы исследовательницы. Действительно, собираясь замуж, мало кто станет размышлять о том, что «невеста» — значит не ведающая своей доли; приговоренная к торжественному и красочному погружению под рыдания родни и заунывные песни в омут безвестия; обреченная навсегда кануть в неизвестности во имя торжества непостижимого для людей хода вещей. «Невеста» — значит утратившая связь со своими, не имеющая известий от родных и не подающая весточки о себе. «Невеста» — значит неведомая, входящая в чужой дом; девственница, не изведенная еще ни одним мужчиной; девица, которая должна бы привнести в новую семью благодать телесной и духовной чистоты, но также способная замарать всех грязью разврата; дева, во власти которой либо изменить к лучшему, либо дотла разрушить привычный родовой уклад; девушка, соблазняющая на познание, но одновременно и пугающая инородностью стоящих за ней миров.

Мария чувствовала себя целым созвездием смыслов, зодиакальной Девой, озаряющей земную обыденность. От непередаваемого космического ощущения кружилась голова, замирало сердце, а руки и ноги холодели и плохо слушались. Но, скрывая волнение, она, как Неизвестная с картины, взирала на сидящих перед ней посторонних мужчин, чувствуя необъяснимую власть над ними. И даже отцу, и даже себе самой в этот час она представлялась Незнакомкой, ибо ей высшими силами поручено явить миру нечто небывалое, нечто сказочное, то, что вот-вот начнется, непременно начнется, с нее начнется! Каким-то чудом она, вчерашняя деревенская простушка, раньше остальных (хотя и наполовину пока) допущена в грядущее! Оно лишь только близится, каким оно окажется — Марии тоже не дано знать досконально, однако представить себе его черты она уже в состоянии, ибо будущее произрастет из нее, станет частью ее плоти и духа.

Но не только животворное воодушевление испытывала сейчас Мария. Упиваясь своей исключительностью, она одновременно полной чашей черпала и горечь неприкаянности. Именно болезненное сознание фатального одиночества избранницы дало женщине право апеллировать к присмирившим посетителям, и монолог ее был монологом гостя из незнаемого мира, медиума, наделенного способностью перекинуть мосток из нынешнего вечера в завтрашнее утро. Закуковала Машка вековой отшельницей кукушкой, кого обнадеживая, кого повергая в трепет, и если первый звук клича ее доносился из дня минувшего, то ответный всхлип плача ее слышался отголоском дня предстоящего.

Она говорила и говорила, ни к кому конкретно не обращаясь, но непостижимым образом каждый, склоня слух к зегзице, понимал, что вразумляющее причитание адресовано персонально ему, каждый, внимая утомительной переключке двух минорных нот посвиста пророчицы, открывал что-то для себя и в себе. То, во что в тот вечер посвятила Мария засидевшихся визитеров, словно бы сопровождало их на протяжении всей последующей жизни; то, что слышали они тогда, позже — отрывками, искаженным эхом — многократно встречалось им и в телевизионных дебатах, и в проповедях с амвона, и в легковесных газетных статейках, и в заумных книгах, и в

правительственных указах, и в митинговых речах, и даже, вроде бы, однажды случайно мелькнуло перед чьими-то глазами в заголовке брошюры, на обложке которой было означено: «Володина М.В. Автореферат диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата философских наук...»

Впрочем, уже на следующий день никто из присутствовавших не смог бы достоверно и полно воспроизвести обращенный к ним монолог. Приговоренные отныне к пожизненным каторжным работам в рудниках мировой гармонии, они пытались припомнить прорицание общежитской Кассандры, но тщетно: в памяти всплывали лишь фрагменты ее почти надрывной декламации под музыку высших сфер, разрозненные обрывки, касавшиеся личных обстоятельств каждого. Вот если бы удалось сопоставить впечатления всех искателей недостижимой целостности бытия, тогда обозначились бы общие очертания клубящегося оттенками смыслов облака фраз, скользящего однажды из распахнутого окна казенной комнаты в сгущавшиеся августовские сумерки и растворившегося в задумчивой прохладе. Если бы удалось...

Что же за отповедь дала царевна, томящаяся в коммунальной темнице, горе-спасителям? Что поведала залетным витязям, не способным ни разбудить горячим поцелуем, ни ободрить добрым словом, ни вдохновить самоотверженным подвигом? Со всем не то, что они рассчитывали услышать, совсем не то, что, как представлялось им, должно бы волновать незамужнюю женщину на сносях.

А она вдруг пустилась в воспоминания о переезде в город, о первых своих днях вдали от родного дома... Насколько же едким показался бензиновый чад после деревенского приволья! Марии чудилось, что какой-то озлобленный до невменяемости экспериментатор ставит над ней чудовищный опыт: с палаческой медлительностью впрыскивает в вены дозы ядовитого кумара, который засоряет легкие, заражает кровь, зачумляет мозг и душу. Однако понемногу девчонка (куда тут денешься!) научилась дышать парами отработанного топлива и вскоре уже не могла обойтись без глотка отравленного воздуха, как и все городские людемашины, подпитывающиеся выхлопными газами друг друга...

Наверное, с полгода прошло, прежде чем Мария заметила: а ведь город не только отравил, но еще и оплодотворил ее. Это открытие оказалось настолько ошеломляющим, что потрясенное до самых основ сознание отказывалось отвечать на насущнейшие вопросы: произошедшее — благо или зло? наказание или награда? спорадический казус или фатальная закономерность? Да и статочное ли дело, чтобы сквозь плену смертоносного дурмана вдруг робко дохнула зарождающаяся жизнь?.. Неискушенная деревенская головешка пошла кругом.

Если верить рассказчице, безуспешные попытки перекинуть шаткий мосток логики над пучиной житейского сумбура доводили ее до полного отчаяния. Бедняжка уже окончательно впала в какое-то полубморочное состояние, когда неожиданно пришло избавление — помимо ее воли и без всякой связи с попытками разобраться в удручающем абсурде сущего. Спасение было явлено, словно ниспосланная свыше милость: смятение, клокотавшее в девичьем сердечке, вдруг сбежало с легкостью вскипевшего молока, а на доньшке оплавленной души внезапно обнаружилось смирение. Ранее раздражавшее своей абстрактностью понятие «ход вещей» обрело магическую власть над Марией, она отдалась этому непостижимому ходу вещей, приняла его как часть своей личной судьбы и стала жить дальше, просто жить, без опостылевшего поиска объяснений, без ежедневных доказательств головоломных теорем, но, правда, и без спасительной защиты аксиом. Маша просто смирилась. Смирилась с тем, что несет бремя. Бремя урбанизации. Почему именно она, Мария Володина? почему она одна за всех? — разбираться бесполезно и бессмысленно. Важнее внутренне сосредоточиться, настроиться на то, что произойдет, когда она разрешится от бремени... Кто появится тогда на свет? Как это будет? Страшно! Интересно...

Обращаясь к своим эксцентричным гостям, Мария пыталась предостеречь каж-

дого по отдельности и всех вместе: что-то непременно должно перемениться, что-то вскоре стронется с места — навсегда и невозвратно,— ибо зародилась и вот-вот проклюнется новая жизнь. Новая жизнь... Она не нуждается ни в чьих визах, не согласуется ни с чьими сроками; она не ждет подходящего случая; она вершится безоглядно и самовольно. Всякой твари остается лишь подстраиваться под мерную поступь наступающего будущего, дабы под его пятой не оказаться растертой в неосызаемую дорожную пыль, не рассеяться прахом, вздымаемым чудовищными каменными стопами.

Приходится постоянно примеряться к тяжким шагам неведомого — эта простая мысль, доступная пониманию существа, обитающего на Земле хотя бы второй день, почему-то никак не укладывается в голове человека разумного, обживающего планету десятки тысяч лет. Попробуйте сказать кому-нибудь: мол, всем нам надо жить поновому. Вероятнее всего, вам с самодовольным ржанием ответят: «Все! С понедельника начинаем новую жизнь. Бросаем пить и курить, начинаем делать зарядку». В лучшем случае вас поймут с общеэкономической точки зрения, заведут речь об интенсификации производства, хозрасчете, щекинском методе и прочей муре. Более развитые индивиды переведут разговор в общественно-политическую плоскость, заявив, что безоговорочно поддерживают проведение перестроечных преобразований.

А вот Виктор Алексеевич... Тот, услышав слова о новой жизни, и вовсе воспринял их исключительно в прикладном плане. «Во! Это же колхоз наш так называется!» — только и смог помыслить крестьянин, и перед глазами его, словно въяве, предстал межевой знак на обочине сельской дороги — сваренная эмтээсовскими умельцами жестяная конструкция, долженствующая представлять исполинский колос. Надо полагать, подобные колосья являются порождением снов волостных счетоводов и агрономов: созрей такой урожай на наших скромных почвах — оказались бы с избытком перекрыты все планы сдачи зерна государству... В реальности же сказочные злаки не колосятся; зато существуют две вполне прозаические, зато абсолютно настоящие вещи: карточка партийного учета, куда уже внесен выговор за срыв поставок сельхозпродукции, да ток, на котором воробьев больше, чем жита. Так что остается с грустью рассматривать неуклюжую композицию из металла — памятник невыполненной Продовольственной программе, покрытую пятнами ржавчины и облезающей желтой краски стелу, на которой синими буквами с потеками начертано: «Новая жизнь».

Володин сейчас так натурально все это увидел, что в комнате его больше не было — он уже спускался с невысокой насыпи к лесополосе, чтобы поискать грибов. Уже очи заливала бездонная синь осеняющего неба, слепил светозарный августовский полдень, а ноздри дразнил воздушно-мясистый, с ломкой корочкой запах свежеевыпеченного хлеба, разлившийся по округе из пекарни соседней Малевки. В ушах стояло завывание ветра между жестяных остинков придорожного указателя да громоподобное гроыхание плохо приваренных листов железа, за которым слов дочери уже не слышать.

А речь Марии между тем становилась все более взволнованной, временами срывалась на нервическую патетику вконец растерявшегося оратора. Да и как сохранить самообладание перед лицом изломов каверзной судьбы? Живет себе обычный, ничем не примечательный человек, допустим, деревенская девушка, безмятежно резвящаяся на лоне родной природы. Она, эта девушка, для космоса не значительнее какого-нибудь электрона, надежно вмонтированного в оболочку своего атома; мирно крутится девушка по собственной микроскопической орбитке, и во всей вселенной царят покой да гармония. Но вот девушка всего-навсего переселяется в город, переезжает на ничтожнейшее по галактическим меркам расстояние, перемещается по планете, может, на тысячную долю градуса, и сколько же происходит странного, мисти-

ческого, пугающего... Та же самая пылинка, что была неразличима даже под микроскопом, та же наимельчайшая песчинка мироздания стронулась с места под едва уловимым дуновением ветра перемен — а в результате трепещут горы от чудовищных обвалов, почва покрывается тенетами разломов, твердь земная содрогается от тектонических сдвигов... Что за сила делает столь малое столь грозным? И как нам жить в мире, самые основы которого подвержены постоянным потрясениям? И возможно ли сохранить себя там, где нет ничего прочного, устойчивого, где ни в чем не прослеживается очевидных соответствий, где причина и следствие могут оказаться разделены веками, разнесены по разным континентам?

В этом зыбком мире немисливо точно определить и зафиксировать, в какой момент, каким образом ветхая обыденность принимается приуготовлять суровое, величественное празднество обновления. Впрочем, мало кому приходит в голову вести подобные заметки. Большинство по школярской привычке заполняет свой Дневник Наблюдений за Природой небрежно, урывками, не вникая в суть происходящего. Нас хватает лишь на то, чтобы констатировать: незнакомая, точнее сказать, чуждая нам реальность исподволь вытесняет привычный уклад, пусть не блистающий роскошью, зато изученный до малейших тонкостей, до анатомических подробностей, до умиленных частностей, а посему сердечно близкий. Незаметно уходит в небытие то, с чем мы давно сроднились, без чего все окружающее кажется нам пресным, тусклым, неуютным; притом мы-то остались прежними, в нас пока ничто не изменилось. Пока! Но срок приходит... Поначалу мы только присматриваемся к новому, сознаем его; потом постепенно привыкаем к нему, соглашаемся с ним, принимаем его; стремимся сообразовываться с ним и сами меняемся, не можем не меняться. Однако ровно в тот момент, когда мы, подстраиваясь под новизну, отваживаемся на перемены, то, что считалось передовым, актуальным, современным, по какому-то непостижимому умом закону вдруг начинает устаревать, деформироваться, распадаться.

Человечество никогда не поспеет за извечным и неуловимым вселенским перерождением, как Ахиллес никогда не догонит черепаху. Никогда! Не дано того роду людскому. Если же высшие силы кому-то и даруют счастье заметить чудо явления миру *неведомого*, всякое новшество непременно истолкуют превратно, в меру своей испорченности и ограниченности.

Наугад раскройте том хронографа — на любой странице прочтете подтверждение этому приговору. Вот бюргеры времён Реформации слушают проповедь Лютера. Готовы ли они принять щедрую благодать от Мартина-философа? Способны ли воспринять и оценить все богатство «Тезисов», весь блеск их мысли, всю мощь веры в Бога, переплавившейся в веру в Человека? Стремятся ли почтенные филистеры вслед за вдохновенным богословом к смирению и сокрушению сердца? Смешно спрашивать! Движет ими ненависть к тому, против чего восстал разгневанный августинец, и вот, протестуя вместе с Лютером, стали они протестантами, стали лютеранами, всем своим католическим опытом въехали в ересь, проскочив мимо указанной им стези, ведшей в царство христианской свободы... А молоденький офицер Бонапарт? Мог ли он надеяться, что порывы обновляющей кровавой бури над Францией вознесут его на тулонские высоты? А непобедимый генерал Наполеон? Мог ли ждать, что путеводный свет, который не застили ему ни пыль дорог Европы, ни альпийские метели, ни песчаные бури Египта, окажется не сиянием золотого венка триумфатора, а бликами московского пожара и льда Березины? А заносчивый император всех французов? С вожделием разглядывая в кабинете своего дворца модель Земли, мог ли предположить, что на глобусе означены не только покоренные столицы, но и острова его грядущего позора?.. Или вот: розовощекий юноша-комбайнер вступает в жизнь, а за плечами у него написанное на «отлично» выпускное сочинение «Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полет» и орден Трудового Красного Знамени за ударно проведенную страду. Кто бы мог ожидать, что через четыре десятка лет

бывший ставропольский механизатор возьмет в руки штурвал великой страны? Кто мог представить себе, что главный советский коммунист станет покровителем диссидентов и кумиром западного мира? Самому изощренному прорицателю не разглядеть такого будущего в самый прозрачный хрустальный шар... Конечно, нельзя поручиться, что Маша, излагая изумленным слушателям наиболее глубокомысленные свои пассажи, использовала именно эти исторические примеры, но суть ее рассуждений сводилась к тому.

В изменяющуюся реальность мы попадаем с разбегу и вязнем в ней, как телега, провалившаяся с укатанной колеи в трясину. «Вот занесло!» — думаем мы. А это настало то самое «новое», к которому так стремились, к которому так долго ехали, трясясь на ухабах повседневности! Оказывается, «новое» представляет собой довольно унылый пейзаж — однообразную низменность, испещренную бесконечными кочками и черными глубокими лужами, заболоченную равнину, обрамленную по горизонту рахитичными елками. И хорошо, если только так, если за чахлым ельником, подсвеченным тревожным багровым заревом, не крадутся оголодавшие волки — соседи по «новому», его исконные обитатели и, пожалуй, истинные хозяева.

Неопытность по бодрому своему невежеству рассчитывает вломиться в грядущее под треск и сверканье фейерверка эмоций, под «Брызги шампанского», окатывающие хмельной прохладной волной бесшабашного ритма. Опыт, оглядевшись в пресловутом будущем, обнаруживает, что опьянение игристой новизной как-то незаметно выветрилось, а осталась (и, похоже, навсегда) лишь головная боль... В чужом пиру похмелье... Как же это обидно! А еще обиднее, что тот краткий миг, когда ты по необъяснимой милости судьбы оказался сотрапезником избранных на роскошном пиршестве жизни, бездарно упущен, что твой единственный тост, которым ты собирался поразить все застолье, так никем и не услышан: ты только лишь поднялся с места, стараясь придать своей широкой улыбке выражение почтительного дружелюбия, а соседи по столу уже опрокидывают бокалы, и вместо ободряющих глаз ты видишь лишь кругляшки стеклянных доньшек, отвечающих прозрачным равнодушием.

А ведь мы так старательно готовились к торжественной встрече будущего! Наши сердца напряженно замирали в ожидании начала грандиозных преобразований, подобно солдатам парадного расчета, которых миг тревожного счастья между «Шагом...» и «...марш!!!» превращает из зеленых новобранцев в матерых слугак. С восторгом ждали мы сигнала к началу перемены, со сладострастием предвкушали встречу с небывалым! Предвкушали... Однако оказывается, что за предвкушением беспроблемно следует послевкусие. А где же сам чаемый вкус?! Мы мечтали упиваться вкусом новизны, наслаждаться экзотическим букетом до самозабвения, но ощутили лишь полынную горечь разочарования. Запертые по чьей-то злокозненной прихоти в незнакомой комнате казенного дома, мы томимся, не в силах осознать всей униженности своего отрезвления, не в силах подобрать нужных слов, чтобы ободрить товарищей по несчастью... Мария, может быть, ты способна развеять гнетущую тоску? Может быть, тебе дарована власть оживляющим словом смягчать коросту, теснящую наши души?

Марии же впрямь почудилось в тот миг, что она обрела чудесную способность: дай ей волю, и она своєю мольбю растопит льды полюса, успокоит огнедышащий вулкан, заговорит ураган... Дочь крестьянскую так долго изводили пыткой молчания, что, начав говорить, она все не могла остановиться. Подобно сказочной царевне, освобожденной из заточения в каменной башне одиночества, она торопилась выговориться, развеять по ветру снедавшее ее беспокойство; но и уже избавившись в открытом разговоре от застоявшегося, парализующего уныния, продолжала дозволенные речи, рассказывая теперь не о себе, а о тех неуклюжих и забавных мужчинах, что сидели перед ней с понурыми головушками. В словах Марии, словно в волшебном зеркале, отразились их образы, и со стороны они сами себе показались похожими на

грубо сделанных марионеток. Комната общежития превратилась в вертеп, где разыгрывалось кукольное представление: вот смастеренные из папье-маше волхвы несут к колыбели Младенца дары, кои столь же ничтожны, сколь дешев материал, из которого изготовлены фигурки: засохшие благовония, самоварное золото, дребезжащие битые стекляшки. Однако, приблизившись к яслям, узрев ясное личико лежащего в них, устыдились они убогих, как их собственные жизни, даров, поняли ничтожество свое рядом с чудом рождения, захотели убежать, закрывая лица рукавами.

А вот Мария не только приняла, но и по-женски оценила свершившееся на ее глазах скромное приношение — не ей, конечно, даже не ее будущему ребенку, а волшебству обновления и продолжения жизни. И оценив искренность проводивших скудный обряд жрецов, Маша по-другому взглянула на них, таких милых, несмотря на нескладность,— с явной симпатией, хотя и не без доброй иронии. Пожалуй, она даже жалела их, ибо уже постигла то, во что им лишь предстоит быть посвященными: жизнь опрокинет все расчеты, развеет все надежды и двинется своим путем, ни с кем не советуясь, никого не торопя, никого не поджидая.

Разборчива была невеста, да не держала обиды на искателей ее руки и сердца, пусть даже изначальные намерения их, цель их прихода в девичью светелку вполне могли показаться оскорбительными. Нет, Маруся не сердилась на своих напыщенных кавалеров, поскольку видела, что теперь, прилюдно исповедавшись и выслушав ее ответные откровения, они больше не походят на заигравшихся паяцев. Маша только хотела дать понять Шамсутдинову, Саше, Иммануилу, Рогову и Чернышеву (ни одному из них не отдавая предпочтения и вместе с тем ни одному не отказывая во внимании), что, дерзнув спасти кого-то, надо бы самим избавиться от неуверенности, нерешительности, терзающих сомнений и страхов.

Впрочем, в словах Марии слышалось не осуждение — сочувствие, ведь в своих случайных визитерах хозяйка смогла разглядеть главное: они стремились чуть более логичным сделать мир вокруг, добавить щепотку здравого смысла в бурлящий котел экзистенциального абсурда. И это все, что знала, что хотела знать о них Маша, и именно этим знанием пришедшие к ней возвышались. Они догадывались, что покинут четырехста первую комнату совсем не такими, какими переступили ее порог. Придя сюда по причинам туманным, морочным, надуманным, они в итоге пришли к лучшему в себе; сейчас не осталось в них ни жадности, ни заносчивости, ни слабости, ни расчетливости... Правда, если бы Мария не оценила их, вряд ли сами они заметили и запомнили в себе хорошее. А ведь оно существовало, это хорошее.

Оно было рядом, вокруг, оно осязалось в воздухе, его флюиды по разнонаправленным кривым распространялись в помещении и, похоже, воспринимались не только людьми. Сказанное Марией по-особому резонировало тут, в скверно обставленной каморке с облезлым абажуром. Чья-то скособоченная тумбочка; на ней — оглушительным тиканьем напоминающий вздохи задыхающегося астматика будильник, столь несоразмерно громоздкий, что вполне мог бы послужить башенными часами; тяжеловесный стол с оббитым лаком на кончиках ножек, там, где часто шаркали тряпкой, моя пол; матово поблескивающие металлом сиротские кровати, заправленные заштопанными покрывалами; захватанный коврик на стене, на котором пораженные всем происходящим три богатыря выкатили из орбит мохнатые глаза,— вся эта рухлядь обретала сугубую значительность, оказывалась не фоном, но сутью монолога о новизне и изменчивости. Какой-нибудь колченогий стул вдруг переставал быть чиненой мебелью, виделся предметом с авангардного полотна, где намеренно нарушены представления о пропорциях, смещен привычный угол зрения. И старомодный репродуктор на стене, и полинявший ситцевый полог, отделявший жилую часть комнаты от подобия прихожей, и похожий на колумбарий обедневшей аристократической фамилии шкаф... Они отныне будут резкими мазками вписаны в общую картину мира каждого из собеседников Марии, композиционно соотносятся

с историей его жизни, займут место в биографии. А в иконописной перспективе окна, обрамленного крестами распахнутых рам, теплое небо сочилось благоволением к человекам.

Умиротворение, разлившееся в зеленой от насыщенной голубизны выси, милостиво изливалось на землю, заполняло, обволакивало шумливые кварталы, один за другим затихавшие в преддверии ночи. Отходя ко сну, город, как набегавшийся за день ребенок, долго копошился под пуховым одеялом летнего вечера, испускал гудки машин, стук каблучков и шарканье подошв по асфальту, звуки плевков, запахи отработанного топлива и тлеющей листвы.

А за городской окраиной, робко вторгшейся в природу, разметались на жестком ложе усталые поля да настороженные перелески; чуть поодаль ворочалась в полузабытьи большая ленивая река; погружались в дремоту совсем уж неблизкие степи и горы, нескончаемая тайга и непролазные топи, великие озера и стылые пустыни, и вечные льды, и безмерные океаны.

Еще дальше клонила изъеденный оспинами сонный лик желтушная Луна, а там — и scarлатинный Марс, и гипоксимичная Венера, и звезды, такие далекие, что не разглядеть их как следует, не поставить точный диагноз... Говорят, в момент окончательной сборки вся эта насквозь больная галактика, тогда еще добротная, легкая на ходу, как новенькое велосипедное колесо, гипнотизирующее ослепительным блеском никелированных спиц и обода, была посажена кустарем-изобретателем на ось. И поныне расшатавшаяся, тронутая ржавчиной Вселенная «восьмерит» вокруг чего-то надежного, но невидимого. Иногда можно даже расслышать, как посвистывают стершиеся подшипники, как побрякивает приводная цепь нашего мира — когда в большой компании малознакомых людей в разгар шумной болтовни все вдруг одновременно смолкнут, потому что каждый задумается, что бы еще приятного для других показать в себе, — вот тогда и слышно.

Прежде (в отсталой и реакционной Российской империи) наши легковверные предки, не усвоившие научного мировоззрения, в такие минуты говаривали: «Тихий ангел пролетел». В советские времена все стали учеными... Не в том смысле, что все занялись научной работой, но все оказались ужасно образованными, подкованными в любых вопросах бытия, главное же — наученными жизнью. В советские времена завести речь о бестелесных сущностях мог либо диссидент, либо провокатор, потому что каждому было понятно: единичные пролеты посланцев небес, колы иной раз и случаются, то не у нас, а на далеком от всепобеждающего материалистического учения Западе. Жизненная практика, которая, в полном соответствии с доктриной Маркса, стала для нас важнейшим критерием истины, убеждала советского человека, что летать могут лишь физические объекты: «кукурузники» санитарной авиации, космические аппараты, работающие для нужд народного хозяйства, оберегающие покой Родины стратегические бомбардировщики на боевом дежурстве...

Незримых хранителей окончательно упразднили, зато на вахту заступили архангелы в погонах. Поэтому в советские времена, если среди общего веселья или делового разговора внезапно и разом затихали оживленные голоса, стали судить так: «Милиционер родился...» Когда в прокуренной кухне «хрущевки» неожиданно захлебнется искрившаяся искренностью беседа, когда в самый разгар неформальной полемики дипломированных советских интеллигентов почему-то вдруг запнут азартные спорщики, когда в шумном, пусть и безалкогольном, пусть и талонно-карточном, пиру после удачной остроты либерально-демократического вольнодумца зависнет завистливое молчание, — тогда, чтобы разрядить драматизм возникшей паузы, обязательно кто-нибудь хитро подмигнет: «Мент родился». И после этих слов невольно почувствуешь себя под охраной, и подумаешь: «Хорошо, что пока не под стражей!» И невольно вспомнишь тех, кого уже взяли под стражу...

Так дело и шло: стоило советскому человеку погрузиться в задумчивость, нена-

долго выпав из ритма всеобщей кипучей работы, как одним милиционером становилось больше. Гражданин Страны Советов опять недоумевает: «Почему это у нас столько милиции? Не многовато ли?» А правоохранительные органы уже выписывают служебное удостоверение очередному сотруднику. Какой-то замкнутый круг получался (порочный круг!) А уж в эпоху гласности, ознаменовавшейся массовыми приступами мыслительной деятельности, личный состав милиции не только количественно увеличился, но даже перешел в иное качество, получив в свое распоряжение резиновые дубинки, слезоточивый газ, защитную амуницию, спецавтомобили для разгона бунтующей толпы,— все то, чего ранее мы, законопослушные «совки», и в глаза не видели, считая атрибутами исключительно эксплуататорских государств капиталистического мира. В общем, в годы перестройки наше бытие значительно усложнилось, предопределив (опять-таки в полном соответствии с марксовской теорией) многократное, болезненное, на грани распада усложнение сознания.

Однако вот именно сейчас здесь, на четвертом этаже рабочего общежития, угнетающая сложность бытия почему-то не ощущалась.

Мария говорила, ни к кому не обращаясь, словно бы сама с собой, словно бы забывшись беспокойным неглубоким сном, но все сказанное ей неожиданно оказалось настолько ясно, близко каждому, будто это были его собственные мысли. Впрочем, когда твои мысли высказывает кто-то другой, их великую простоту, как выяснилось, невозможно вместить! Слова Марии... Не слова даже, ибо слова превратились в ненужную частность, чуть ли не в помеху, а аморфные сгустки смысла, распространяемые мягкими, слегка припухшими складками ее губ, замедленными движениями ресниц, бархатными низкими тонами голоса, витали в комнате, отскакивая от стен, иногда ложась кому-то на сердце, иногда не касаясь ничего слуха.

Но, не заботясь о том, Мария щедро дарила себя пришедшим к ней. Она знала, что должна это сделать, как распустившийся бутон знает единственное предназначение — дарить порывам теплого весеннего ветра аромат цветения, не заботясь о том, наделен ли кто-либо на Земле талантом, услышав изысканное благоухание, проследить от нахлынувшего счастья. Не в силах женщина забыть, к чему призвана природой, не в силах утаить от вселенной переполняющую ее красоту. На память о своем кратком свидании с миром женщина непременно должна оставить ему (даже такому бесталанному, грубому, неказистому) блеск своих глаз, цвет своих волос, запах своей кожи, музыку своего голоса, прихотливый узор своих чувств, волшебство своего продолжения. И сейчас Мария одаривала людей надеждой и утешением, любовью и пониманием так же, как через несколько месяцев дарует человечеству своего первенца.

Речь ее транслировалась репродуктором распахнутого окна — в бездонное небо... Спортсмен-радиолобитель в городе Благовещенске случайно поймал эту взволнованную волну и безотрывно работал на прием до конца передачи, удивляясь своей вине в горе обиженной людьми и обидевшейся на судьбу женщины. А потом отправил давнему знакомому, которого, впрочем, знал лишь по общению в эфире, — коротковолновому из Веллингтона — странный текст: «Старина! Мы напрасно ловим сигналы SOS: мы не можем спасти ничьих душ, потому что не спасли свои собственные...» Приняв сообщение из России, меланхоличный веллингтонский радиолобитель хотел было переправить его дальше, но, подумав, рассудил, что дальше, похоже, уже некуда... Почему-то в тот вечер он дольше обычного засиделся в любимом баре, задумчиво клубя трубочный дым над стойкой, разглядывая сквозь витрину крупные зимние звезды, ворча про себя, что, пожалуй, так ничего и не понял в жизни...

А в комнату Марии через открытое окно тянуло хорошим, терпким, дорогим табаком — кто-то курил этажом ниже, переживая за свою, тоже нескладную, долю. Легкий запах тлеющих табачных листьев бередила грустные мысли о том, что вот уже кончается лето... Кончается лето, и, значит, впереди теплохладный сезон разочарова-

ний, предваряющий лютую стужу, которую парным августовским вечером и представить себе невозможно, но которая непременно ударит, и удар ее не все смогут перенести... Кончается день, и пора дать себе отдых... Кончается время, которое для чего-то было отпущено всем им, притаившимся здесь, по сю сторону разверстого оконного проема... Кончается время, и пора перестать надеяться на чью-либо помощь... Кончается время: бесполезно и глупо молить о продлении.

И хотя между присутствующими уже давно установилось молчание, казалось, что их разговор продолжается. Эти... как бы помягче сказать... своеобразные люди, собравшиеся в этом необычном месте, молчали — каждый о своем и, все-таки, все об одном и том же, о том единственном, в чем можно быть уверенным до конца и неизменно: в нашем страннейшем из миров у каждого своя странность. Все мы (а в России в особенности!), как говорят, с отклонениями, абсолютно все, так что само понятие нормы, похоже, уже утрачено. Если же доведется по какому-то поводу начать чередить, показывать окружающим свою эксцентричность, то такого накуролесим, такое чудо чудное учудим, до такой свистопляски дойдем, что только другое, еще более экстравагантное, чем у нас, оригинальничание заставит остановиться и смиренно созерцать чужое чудачество.

Так и теперь. Идя на свидание со странной женщиной, не то избранной, не то отверженной, странноватые женихи могли бы ожидать от нее либо заискивающей покорности, либо агрессивной надменности. Но тот тихий, почти отстраненный разговор, который повела Мария, оказался неожиданностью для всех, даже для отца ее. И ведь Маша не отвергла пришедших к ней, не погнушалась ими; однако и не приняла безоговорочно, не признала достойными — это она-то, деревенщина, безмужняя залетчица! Но вот не дала играющим в благородство городским неудачникам возможности возвыситься за счет своего ребенка, от неискренного самоотречения их отказалась, поскольку настоящее возвышение им только еще предстояло познать, ибо оно скрыто глубоко в человеке и не измеряется ни милостыней, ни доброй услугой, ни благодеянием. Напротив, лишь возвысившись духом, поняв, что есть воистину добро для тебя самого и для ближнего твоего, получаешь право принести себя в жертву.

Ни одного из незваных гостей Мария не пустила в свою жизнь, и всякий понимал: нет у него права упрашивать женщину раскрыться перед ним. Ей идти собственной дорогой, вести за собой дитя... И, возможно, следуя за матерью, чадо ее, которое еще до рождения оказалось в эпицентре стольких страстей, на перекрестке стольких судеб, войдя в возраст, достигнет небывалых высот... Сейчас каждый в комнате искренне и бескорыстно хотел, чтобы Машин первенец вырос бы великим человеком... Или, хотя бы чуть более успешным, чуть более удачливым, чем все они. Сейчас любой согласился бы работать до изнурения, терпеть лишения, расстаться с самым дорогим ради триумфа этого ребенка, триумфа, будто бы кем-то уже обещанного. И если бы мальчишке удалось (ах, если бы ему удалось!) в будущем прославиться и их прославить, как гордились бы они, что помогли становлению выдающегося деятеля современности! Словно настоящие отцы гордились бы!

Впрочем, тягучие секунды негостеприимной тишины, одна за другой падая на темя тяжелыми, палаческими каплями, возвращали от бесплодных мечтаний к безотрадней действительности. Ясно же, до рези в глазах, до ломоты в висках ясно: явит Машин ребенок пример исключительной личности или станет лишь одним из малых мира сего, еще более мизерабельным, чем собравшиеся здесь мужчины,— все равно для них нет места подле него. Он ни единой чертой не будет похож на тех, кто ныне пытается заглянуть в завтрашний день не рожденного пока младенца; ни единым изгибом своей судьбы не повторит маршрут их блужданий, не прислушается к их советам, не воспользуется их помощью... Приговор окончателен, обжалованию не подлежит: рядом с ним, как и рядом с Марией, нет для них места.

Одно было утешение: Мария не погнушалась своими шальными визитерами,

следовательно, понимала их существование как необходимость. И это неожиданно оказалось чрезвычайно важным для них, пожалуй, это оказалось важнее всего. В сердцах, раскалившихся, словно безостановочные плавильные цеха, в грудных клетках, чьи своды покоробились от непрерывной работы вагранок сомнений и того гляди обрушатся, вдруг потянуло освежающим сквознячком. Там, где грохотали вагонетки, загружающие в пылающие печи лом чужих идей и слов, где чревовещательно гудело адское пламя, где заполошно орали сновавшие повсюду микроскопические на фоне домен черные человечки, вдруг зависла пауза, означавшая, что сейчас произойдет нечто важное. И правда: из огненной летки мартена уже изливался белый от жара, дрожащий, как мираж, поток металла. Этой плавке еще предстояло много терзаний: она пройдет многократную лихорадку закалки, ее будут неистово колотить молотом... Но именно она и именно после мытарств превратится в стальной стрежень, в несущую балку каркаса будущих побед.

Вот ведь насколько все изменилось за, может быть, час с небольшим пребывания в общежитии посторонних: направляясь сюда валяжными гарун-аль-рашидами, теперь они готовятся бежать, будто ватага оконфузившихся оборванных дервишей... И как тут не вспомнить бабу Дусю, горой стоящую на страже воспрещающих предписаний: похоже, не следовало им, посторонним, ломиться в закрытую дверь. Послушай они старуху — самим проще было бы! Однако посторонние никогда не соглашались признать себя непричастными хотя бы к чему-то, творящемуся на белом свете, никак не могут подавить мучительные приступы любопытства, упорно срывают предупредительные таблички, влезают, куда не положено...

Да вот взять хоть сегодняшний пример! Бесцеремонные посетители сначала вломились в Машину комнату, а потом уже разобрались, что это, скорее, трансформаторная будка, наполненная пугающим гулом чудовищного высокочастотного напряжения... И что им делать? Как поступить: спастись ли бегством, стоять ли неподвижно? Какому богу молиться, чтобы избежать испепеляющего разряда гневной верховной правды?

Час назад, решительными шагами направляясь к общежитию, все эти мужчины неизвестно почему рассчитывали услышать здесь одно-единственное проникновенное женское слово, без которого не прожить. И что же? Оказалось, слова невесомое листье, готовое в любую минуту с обидным равнодушием покинуть родную ветку ради сомнительной чести ислететь в грязи при тщетной попытке укрыть землю от холодов... Прорываясь всеми правдами и неправдами мимо бабадусиной вахты, самоуверенные прожектеры надеялись обрести в заповедном девичьем царстве верную, преданную помощницу. И что? После разговора с таинственной затворницей их планы облачными плотами уплыли в вечернее небо... Стоя на пороге четырехста первой комнаты, холостяки-неудачники мечтали о заверениях в любви. Ну, и? Едва переступив заветный порог, они вмиг уразумели, что даже из жалости не удостоят их счастьем нежного признания... А вот то, что Мария, мистическим образом приобретшая в их глазах черты идеальной подруги и жены, советчицы и наставницы, то, что она с ходу не выгнала пришельцев, подарила несколько минут тишины на исходе августовского дня — вот это неожиданно наполнило значительностью их существование.

И потому души удостоенных аудиенции кавалеров согревались каким-то новым, неизвестным им прежде чувством. Наверное, в ту пору они и полюбили Марию, полюбили по-настоящему, еще сильнее, чем ее не рожденного сына. Полюбили как свою Прекрасную Даму, как воплощение Вечной Женственности, полюбили навсегда и безнадежно.

Трудно было поверить, что Она пребывает в обветшалом казенном доме, что Ее сердце бьется под стареньким застиранным халатиком, но пришедшие к Ней уверовали. Трудно было постичь, что предстоящая здесь реальная и ничем не выдающаяся женщина суть воплощение мудрости и трепетной доброты, самозабвенной, почти

болезненной любви и неотступной заботы, но стремящиеся к смыслу постигали. Трудно было вместить, что скоро в муках, в крови придется Ей доказывать всему миру свое святое предназначение, но ищущие истины пытались вместить...

Хрипы карикатурно огромного будильника, напоминавшего мультяшную бомбу с часовым механизмом, провожали в небытие мгновения вечности. Упорно глядели в пол, не хотели поднять багровые от стыда лица оконфузившиеся женихи. И все казалось, что сейчас сюда ворвется яростный, неистовствующий Одиссей, законный супруг и настоящий отец, ворвется и мощной рукой восстановит справедливость, обратит в бегство разоблаченных самозванцев, рассеет сомневающих, изощренным разумом направит течение жизни в единственно верное русло, и все, даже наказанные, обретут счастье... Но не распахнулась дверь, не скрипнула половица под запыленными сандалиями. В общежитских коридорах никогда не раздаваться шагам царя Итаки... Так стоит ли тебе, фабричная Пенелопа, год за годом, век за веком ждать возвращения хитроумного мужа? Нуждаешься ли еще в нем ты, давно привыкшая все решать сама? Да и не ошиблась ли ты в своем благоверном? А вдруг под личиной великого героя скрывается легкомысленный выдумщик, бражник, ходок и задира? Или, может быть, таким он и дорог тебе?..



Александр Мальцев
(п. Бор Рамонского района Воронежской области)



У КОЛОДЦА С ЖУРАВЛЕМ
Повесть

Родился в 1948 году в селе Лесополяна Нижнедевицкого района Воронежской области. Окончил исторический факультет Воронежского государственного университета. Работал в Воронежской области учителем, директором школы. Служил в органах МВД. Публиковался в журналах «Подъем», «Север», региональной печати, коллективных сборниках. Автор четырех поэтических книг. Живет в поселке Бор Рамонского района Воронежской области.

ХУТОР

...где-то здесь в лозняковой низинке у ручья с сильным своим дымным запахом стояла банька по-черному. Тропинка выходила на дорогу с колодцем обочь и журавлем рядом...

Хутор из детства — мираж в пустыне, летучий голландец в море, легендарный град Китеж со своими подводными звонами колоколов где-то там, на северо-западе Руси. Жив он, по-моему, только в моей памяти. Жив ликами знаемых мною много лет назад, жив запахом баньки по-черному у ручья на переходе, жив улицей с тогдашними, крытыми соломой избами со скрипучими дверьми, лавочками под окнами, деревенскими мальвами в палисадниках. Еще много чем. И уйдет он окончательно в небытие по-китежградски вместе со мной. Так устроен мир на этой земле. Отживет травинка свое лето, отрадуется жизни и на вечный покой. А чтоб не так трагично выглядела действительность, прикроет снежок землю на долгие месяцы — оно потихоньку и забудется.

Андреевка начинается и кончается Избищами. Избище, утверждает этимология, — место, избитое копытами животных до непригодности быть пастбищем. На востоке селение Избище Семилукского района. От него деревенские подворья тянутся по широкой луговине километров двадцать до другого Избища на западе, завершаясь хутором Афонино в Нижнедевицком районе. Поэтому, где «голова», где «ноги» у этого поселения, понять трудно. Однако — кладбище расположено в семилукском Избище. А оно, как правило, всегда в конце села. Там вся Андреевка и покоится. Только если кто случайно где-то приотстал или затерялся, а так — все там.

Несколькими домишками поднимается хутор Афонино из луговины к просто теперь уже остановочной площадке «Избище», потому что станцию, на радость врагам нашим, разорили ельцинские «опричники». Волокли они КамАЗами рельсы, щебень, оборудование, ну да бог с ними — проживем и так, — обнадеживают местные старики.

Луговина дальше раздваивается. Вправо небольшое пустое селенье в одну улицу Малиновка, обросшая дубовым лесом с сорванным прудиком в низинке. При всех властях без электричества, оно и сегодня остается притягательным местом для

дачников. Оба облесенные ответвления луговины рельефно выравниваются, завершаясь полем.

Километров через десять по луговине на восток — центр. Когда-то здесь было правление колхоза «Звезда». В этом колхозе от самого его основания трудился мой дед. Позже — дядя, остальная малознаемая Андреевская родня. Еще школа, магазин, местная власть и начало асфальтированной дороги на Курбатово. Мне приходилось бывать в «центре». Почему кавычки? Потому что раньше все жители говорили: не в магазин пошел или в правление — в центр пошел. В сельской администрации еще помнит моего деда местный глава. «А-а-а, он жил на Коммунаре, я еще пацанчиком тогда был...».

Деревня эта ничем не отличалась от других деревень России. Как солдат в окоп, хорила она от ветров в складках холмов. Тянулась, располагая жилье, как Бог на душу положит: к соседу поближе жались отроду пугливые, нахрапистые друг от друга подальше, повольтотней, с расчетом на сыновей. В иных местах от избы до избы двести, а то и триста метров! Привольно, сосед соседу не указ, мордоваться за межу из поколения в поколение не надо, спорить, кому, где стог сена скотине на зиму поставить, колодец вырыть, еще чего. Иные же всю жизнь мордуются, но друг от друга — никуда! Парни этого бока брали жен с того, а парни с того шли за ними на этот.

Внутри бывшего храма без креста и колоколов дизель крутил генератор. Грохот мотора, многократно отраженный от стен и устремленный к куполу, резонировал и превращался в вибрирующий визг. По ночам казалось, что звук исходит с небес. В нем моей фантазией переплетались крики ночных птиц, странные плачи и скрежет зубовный.

— Ба, там черти? — спрашивал я, свесив голову с печи.

— Бог с тобой, касатик, что тебе взбрело-то! Ты спи, спи, — шептала бабушка.

КОРНИ И ОТРОСТКИ

Все так же куры в подклетьях кладут свои непорочно-белые яйца, шелестят листья дерев, пасутся коровы, лают собаки, и жизнь за окном напоминает прожитую. Только напоминает, на самом же деле за окном совсем другое.

Километрах в двух с небольшим гаком от остановочной площадки, в прошлом, напоминаю, станции, в самой луговине, как я уже говорил, на улице «Молодой коммунар» жил дед мой по матери Макар Павлович с бабушкой Мариной Андреевной, в девичестве Карповой. Название улицы произошло от названия колхоза. Их было в Андреевке около десятка. Потом их слили в один и назвали «Звезда», а названия колхозов оставили улицам, да отдаленным селениям вокруг. Мне захотелось переощутить дух моего детства, дух этого села, лучше понять свои начала, понять мотивацию своих поступков в жизни.

Вспоминают моего деда местные жители — коих осталось не то что совсем, а очень мало — великим трудягой и выдумщиком. И все из-за экзотики: использовал корову не только по прямому назначению, но и как лошадь, запрягая ее в маленькую тележку собственной конструкции; сенца подвезти с покоса, еще по какой нужде. До меня трудно доходит даже сейчас, когда я крепко в возрасте, что дед мой, во времена моего пацанинства, был не только дедом, но и мужиком в расцвете мужичьих сил со всеми остальными при этом необходимыми требованиями. Для меня он, уже с момента моего рождения, был просто дедом.

С рождения я принимал окружающее данностью неизменной. Только потом-потом в сознание мое войдет: у дедушки, оказывается, был отец, и у его отца тоже

был отец, и был тоже дедушка, что его дедушка мальчиком перенял отцовы привычки, круг мужичьих дел и его сноровку. И так из поколения в поколение передавалась и приумножалась опытом наука сеять хлеб, выращивать скот, рубить избы и сажать деревья. То были времена, когда жизнь и ее уклад не менялись веками, жилось людям просто и по-земному уютно. Без противоречий сын сменял отца. Проблем принятия и отрицания жизненного уклада не существовало. Это где-то там, в Москве да Питере, в Англии да Германии, во Франции да Америке роились и делали большие открытия большие умы. Деревни же там и там жили спокойно и без больших перемен. И мое понимание вещей происходило по мере взросления постепенно.

Перенимать от отца мне пришлось совсем иное. Отец мой отрицал, или делал вид, что отрицает основу устойчивости жизни на земле — *веру в Творца*, и делал что-то не то — совсем не то. По своей воле или по указке других — ни он сам, ни я так и не узнали. Не узнали мы и механизма подчинения чужой воле. И жизнь его и моя потекла совсем отлично от прежней дедушкиной, но и дедушка не воспользовался опытом предков. Прежний опыт имел природное происхождение, а природу решили покорять. Для этого нужен был новый опыт, опыт покорения, а прежний опыт сожительства с природой стал не нужен.

Принимал дедушка присягу на верность царю, а большую часть жизни жил при новой власти, которая, как многие до нее и после нее, думала и обещала быть хорошей. И как потом дед не переиначивал, выходило: он Иуда и клятвопреступник, но тот и другой не по своей воле. А, значит, люди на земле стадны. И он вместе со всеми стаден. Куда их кто не направь, туда и бегут все табунно. Вслед за отцом и своим дедом дед мой пахал землю, и пахал бы он ее до конца дней своих...

* * *

Моя мать и я его внешне собой повторили. От отца мне достались пальцы рук, суровое выражение лица, да склонности к музыке и маранию бумаги. Это не философское и общеизвестное «во мне живет Христос», а родовая обыденность.

Родившись в 1895, он дожил до 1990 и — поразительно: как! Со слов бабушки, любил дед деревенские гульбища. Трезвым с них никогда не приходил. Домой его приносили мужики упившимся до бесчувствия. Отоспавшись, как нигде не был, принимался за дела. Ничего у него нигде не болело, не требовало дополнительных вливаний. Краснощекий, голубоглазый мужик с узкими усами не больше ширины носа, по моде того времени. Сам дед, по своей детскости, многого в голову не брал. Перед войной кто-то из мужиков отдал ему долг флягой денатурата. Дед, широкая душа, собрал соседей. Обсев флягу, мужики не встали, пока все литры этого средства для розжига примуса или керогаза не прикончили.

Однажды отец и сыновья в поддаты затеялись шутить-бороться и сломали отцу руку. Наутро за столом стали думать, как быть дальше. Отец, выслушав сыновей, подвел итог: «Глядите, ребят, как лучше...». Добрейшей был души человек. Это было видно родовым, наследственным.

Выпивши, отец любил поговорить, имея собственные «государственные» суждения. Однажды нашел я его на подворье плачущим. Опершись подбородком на черенок вил, лил он слезы. И вот о чем: скосил сосед купленное у него на корню сено, а потом и отаву, хотя про отаву договора не было. Раскурил я тогда по его просьбе сигарету, но он, так и не сумев «затянуться», выплюнул жвачку. Уже тогда, при его жизни, начинал я понимать, что прожил он жизнь, не выходя из детства. Бабушка рассказывала: когда дело повернуло к колхозам и все стали сбывать имущество, дед мой по дешевке купил конную косилку, ветряную мельницу, рушку. Тут же из соседей создал объединение — «общество», как он сам его называл. Но из грязи в князи не получилось, кто был ничем, тот ничем и остался.

...Вечером в сенях загремели дверью. Впотьмах загалдели голоса. Найдя, наконец, на ощупь входную дверь, мужики ввалились растоптанными валенками, драными полушубками, шапками в трухе сена, бородатые лицами с запахом табака-самосада. Они шурились у порога после темени сеней от света керосиновой лампы. Озираясь по сторонам, виновато прятали они глаза от детей за столом под лампой, от распахнутого удивлением взгляда хозяйки, от строгого на непрошенность взгляда хозяина. Пришли «власть». Пришел комитет бедноты. Совсем скоро его мужики поднатореют в деле хождения по чужим дворам, в деле бесцеремонного влезания в чужие жизни и прятать глаз не будут. Смотреть на сельчан будут с открытым презрением, находя свои действия справедливыми и правильными. А пока, еще причастные к Божьей вере, кучкуются они у входа, опасливо поглядывая на хозяина. В них, в их душах была жива еще совесть: ощущение греховности и несправедности затеянного дела, жив еще страх испортить жизнь свою безрассудством.

Так, наверное, дикарь будет долго разглядывать скрипку, не понимая ее предназначения. Грубым людям в руки случайно попал самый дорогой на свете инструмент, инструмент — мечта человечества, напрямую связывающая власть и людей с Богом. Пользоваться инструментом никто не умел, и за годы властвования никто так и не научился.

— Доброго вам здоровьичка,— дурашливо потянул распевом член комитета, мужик по подворью «Катях», первый весельчак и кутила деревенский,— а мы вот... Но даже он не нашелся, как и чем закончить — сегодня и здесь «в гости» никак не клеилось. Мужик быстро сник, и, несмотря на богатый опыт общения, еще не знал как себя здесь и сейчас повести дальше. Вошедшие, поворотившись к образам, потянули было по привычке руки к шапкам, но «Вожак» — так за глаза называли председателя — громко крикнув, ожег их взглядом и сдвинул брови. И мужики опустили руки, потому что власть на Земле вообще и на Руси в частности — понятие особенное, связанное не только с волей Бога, не только с насилием, не только с безусловной правотой меч носящего, но и с проявлением, в силу положения, и особенного ума, властной вседозволенности. Власть утратила изначальную сущность служения «за прокорм», позабыла о своем единственном праве — умереть в минуту опасности за содержащих ее. Она обособилась и возвеличилась огромным двором, величественным церемониалом. Она присвоила себе божественные черты и, боясь потерять их, при любой форме правления ищет пути сохранения достигнутого. Даже из мужицкой среды недавно свой в доску мужик, обретая знаки достоинств, резко меняется. Он «моет» ноги своим «апостолам», апостолам, возводящим его, дающим ему властное преимущество над другими, забывая напрочь о тех, кому он должен служить, кто его кормит. Вот почему мужикам достаточно было намека Вожака, а Вожаку достаточно было намека над ним стоящих.

За столом восьмеро — мал, мала меньше — ждали, когда их мама поставит на стол чугунок с картошкой. Они уже представляли: как и когда каждый из них протянет руку за картошкой, как торжественно очистит ее и макнет в горку соли, как в полной тишине и серьезности будет вкушать дар Божий, памятуя прочтенную отцом молитву. А перепуганная мама с чугуном в руках стыла у печи. Председатель комитета бедноты громко произнес странное слово: «экспроприация» и, взяв у перепуганной матери чугунок с картошкой, передал его Катяху. Катях, свершая освященное властью государственное дело, понес чугунок с чужим ужином домой, переступив сразу несколько заповедей Христовых. Вожак же, молча провожаемый настороженными взглядами, прошел в «святой угол». Сдернув с гвоздей образа, он кинул их на пол, закрепляя начатое экспроприацией бесповоротно.

Как натаскивают собак на агрессию по отношению к чужаку, так Вожак натаскивал свою ватагу на агрессию по отношению к сельчанам, преступая нравственный закон и божьи заповеди. Под сапогами звонко лопались стекла, с треском ломалось

сухое дерево, но никакая кара на его голову не рушилась. Маленькие заплакали тревожно и отрешенно. Их детские головки не вмещали происходящего. Они плакали так, как плачут взрослые во времена великих бедствий и потерь.

А дедову душу пронзила сильная и, почему-то, визгливая — как железом по стеклу — боль. Он понял, тогда он ощутил нутром: ни в вере, ни в Боге, ни тут, — в своей избе, ни там — на земле и на небе, ни мысленно, ни в деле — себе не хозяин. Началась коллективизация.

В ней заключалась суть перемен. Она разумела обобществление скота, орудий труда, образа мысли, обобществление образа жизни, земли и еще чего-то того, что не возможно было осмыслить сразу. Но поняли люди главное: если чья-то голова высьится над толпой, ее отсекут! Потому высокие от рождения виновно гнули головы до уровня толпы.

И дедушка, и бабушка, и их дети после раскулачивания жили в сарае рядом с заколоченной избой. Вожак еще не раз приходил экспроприировать то чугуна, то деревянную поварешку, то что-то из тряпья. Со временем люди «пообвыкли» и относились к его набегам так, как их предки к появлению татарских баскаков.

Дедушкина семья в то интересное на события время считалась ячейкой общества, строящего коммунизм, но он об этом не знал. Не потому, что не слышал, а потому что слова эти были ему не по уму. Он слышал звуки этих слов, встречал их в газетных текстах, но мозг его на них не отзывался. Не знал он и о том, что низшим проявлением свободы является произвол, а высшим — Царство Божье. Что он на белом свете к чему-то ближе, но, в тоже время, от чего-то дальше. Что можно жить так, и, что можно жить совсем иначе.

И в колхоз он пошел не коммунизм строить, а за своими лошадьми приглядывать. Так до войны с германцем и проприглядывал. Говоря современным языком, он хорошо инвестировал колхоз за охапку соломы, которую надо было еще спереть — так до сих пор говорят местные о краже. Может потому при случае упивался он до безобразия. Дожив до горбачевских преобразований, все пытал меня: «...а можа, оно как при Столыпине, землицу-то нам теперича отдадут?». Но его жизни на российские преобразования не хватило.

Воевал дед, защищая Сталинград, поваром. Там попал в плен, но прежде встретился с братом Павлом. Из плена бежал, пришел домой и сразу устроился разнорабочим на железную дорогу. Коней его в колхозе к тому времени, видно, уже не было. Освоил он на железной дороге новое, хотя для моего понимания странное дело, — чистить колодцы. Даже мне запомнилось обилие казенных домов, как их тогда называли — казарм, через каждые три, пять километров вдоль железнодорожного полотна. В них жили и несли службу железнодорожные обходчики. Возле казарм колодцы. Вот их то и чистил дед до пенсии.

Рассказывал: однажды мужики уронили в колодец на него бадью. Сочтя, что пришибли мужика и ему конец, присели рядом помянуть душу очередного грешника, (почему-то при жизни о грешности вспоминают мало) чтоб потом уж думать, как доставать тело и расхлебывать случившееся. Дед, очапившись, услышал приятное и знакомое для души бульканье, закричал им из колодца, что сначала нужно достать бадью и его, а уж потом разливать...

После его смерти вспоминали железнодорожники, как в споре грузили ему на спину прогон рельса и он, где-то около полутонны веса, нес рельс на своих плечах. В глубокой старости мучили его висюли грыж на груди и в паху. Дурь просто так, ведь, не проходит. Жил он, как мог, — с душой простецкой и наивной.

Я плохо помню, но, наверное, по моей просьбе он сделал мне лыжи. Это были две плохо оструганные, заостренные топором доски. Мне они, по-моему, так и не послужили. Руки ему Господь пришил грубовато. Или деду не сиделось, и все он делал на скорую руку от нужды. Сложенная им печь занимала много места и при рас-

топке всегда сильно дымила. Слаженные им сараи снова хилились, двери пели на все голоса и цепляли за землю, везде были подпорки и соломенные затычки.

В нескольких шагах от его двора в ложбинке располагался старый, обомшелый, рубленый из осиновых и дубовых плах колодец. Рядом с возвышающимися бревнышками сруба лежал большой камень. На него ставили вынудое из колодца ведро с водой. Ее черпали и доставали из глубины сруба с помощью журавля. Журавель — это врытый в землю деревянный столб с развилкой-рогатиной сверху. В развилке крепилась на оси жердь. К длинному концу жерди вязали веревку для ведра, на короткий конец вешали груз. Он-то и пособлял поднимать ведро из колодца. А под окнами, в палисаднике дедушкиного дома, росли мальвы — цветы неповторимо-нежных оттенков!

Деревню схоронила политика. Сначала одна власть, потом другая. А может сроки ей, этой деревне, на земле вышли? Жилья и построек давно нет. Мне же все кажется, что совсем недавно дядя Михаил подкатывал ко двору на «Люсе». Люсей тогда называли дальнего родственника американского автомобиля «Форд», — полутонный грузовичок с полудеревянной кабиной, деревянными порогами и бортами. Пока дядя обедал, я крутил руль и оглашенно орал: «Би-би-и-и...».

Бабушка Марина померла в семьдесят пятом. Деду было восемьдесят. Бабушка давно болела, жила с дочерьми. Дед привык жить один. Он держал корову — сам кормил-поил ее, сам доил-цедил, сам ел и делился молоком с государством. Корова утром тянула небольшую двуколку на опушку леса. Там он косил сено, а выпряженная корова паслась. В «обедах» дойка, обед. Потом корова шла дощипывать траву, а дед сгребал и укладывал на двуколку сено. Вечером запряженная корова везла деда и сено домой, чтоб на следующее утро повторить всю благодать жития сначала.

Когда бабушку снесли на погост, дедушка, сложив клешнястые, растоптанные работой руки на костыле, долго стоял у холмика. Потом горестно вздохнул и негромко произнес:

— А видная баба была.

Может, это и было то, чего она ждала до конца дней своих. Но в деревне любили, рожали и растили детей, строили по заведенному образцу жилье, пахали землю, выращивали хлеб без высоких слов. Дед в этой деревне родился и вырос, прожил жизнь и помер. Он и помыслить не смел нарушать заведенный порядок.

Задумчиво на досуге беседовали с соседкой через дорогу, родственницей Акарачихой. Акарачиха раскуривала козью ножку — свернутую из газетной бумаги сигарку со свойским табаком самосадам так, что щеки в беззубом рту сходились, басовито передавала деду бабьи новости. Больше их передать ей было некому. Улица катастрофически быстро пустела. Народ «уходил», молодежь в селе не оставалась.

Как-то летом, по ошибке, залетели в пустующий на подворье улей, пчелы. Дед, растопив дымарь, восторженно пособил заблудшим обрести дом. Потом, с гудящими под рубахой пчелами, сев рядом со мной на дрова, попросил раскурить сигарету и, пуская дым под рубаху, приговаривал:

— Худая снасть, Шашок, покою не даст.

Утром, несмотря на дедовы старания, пчелы улетели. Дед сокрушенно размахивал руками:

— Эх, мать-и-так, не углядел! — вроде как корова в огород зашла.

«Нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме». Эту сказку ежедневно повторяло радио, а дедушка, как мог, втолковывал ее глупому телку возле лохани: — Ты, — говорил он, — больше на сенцо налегай, а молочко мы сддим государству. Глядишь, и заживем, как радио обещает... Слова ради слов, кучерявая замысловатость теряла человека, слова теряли смысл, от несбыточности их опускались руки.

К тому времени он позабыл давние обиды обобществления: своих коней, загуб-

ленных в колхозе плохим уходом, рушку и конную косилку, просторную избу. Все это потерял он в одночасье. Семья его маялась в тесноте, голоде и холоде. Но и это не все — дед стал сторонником этой власти, находя ее правление справедливым. Он не заметил, как время сгладило, оптимизировало взаимоотношения людей. Образ государства (государства ли?), как Царствия Небесного, был всегда в умах людей необычайно притягателен, и будет притягателен во все времена. Перенести Царствие Небесное на землю в разных формах, в разных местах на земле пытались, но всякий раз не хватало «чуть-чуть». Этим чуть-чуть и было то, чему учит Христос.

Уже когда ему было за девяносто, деда забрали дочери к себе доживать. Последний раз виделись после моего возвращения гостем из Украины. Живущий в Украине один из многочисленных сыновей моего деда Тихон выгнал там из конфет самогон. Времена были горбачевские; ни «жратвы» в магазинах, ни сахара, ни самой водки. Передал я деду поклон сыновний и гостинец. Дед покричал тетке, чтоб принесла стакан. Плеснул и, откушав, еще раз — теперь уже на вкус — убедился, что сыну живется хорошо. В свои девяносто пять он был в своем уме, мог себя обслуживать. Только бесконечно сокрушался по своему жилью, своей корове, которую лет пять назад сдали на мясокомбинат. «Взыграло конфетное пойло, вот и понесло деда», — подумал я тогда. И только спустя годы понял его правоту. Укоротили тетки мои, его дочери, ему жизнь своей любовью — вырвали мужика с корнем из привычной среды обитания, посадили поближе к печке, да к ведру пахучему, и завял мужик.

— Расскажи, — попросил я тогда, — дедушк, о своем солдатстве.

— А что об нем рассказывать-то. Призвали в четырнадцатом году. Служил в Москве. Присягу давал царю-батюшке верой и правдой ему служить... «И когда дед присягал царю, — отвлекло меня размышление под дедов неспешный рассказ, — почва для перемен уже была взрыхлена и удобрена. И тогда большинству мыслящих людей того времени, с противоположных позиций, виделась одна и та же стихия темной крестьянской массы — как огромной силы заряд, склонный к анархизму. Что этот огромной силы заряд, повинувшись некому знаку свыше, в безудержном порыве обратится в дикий бунт, лишенный всякого смысла. И те, и другие по-разному видели решение вопроса, но те и другие радели о своем благе, называя его общим...».

— Как привезли, — стали вновь доходить до меня слова деда, — как переодели, стал думать о службе. Понравилось мне как трубач на трубе трубит. Подхожу к унтеру — так, мол, и так, хочу на трубе трубить. Чего надоть-то? Сговорились. Как свечерело, отдал я припасенную водку унтеру. Смешной был унтер, — дед хохотнул, склонив голову набок. — Как честь, бывальча, отдает, ножкой бьет и рукой по заднему месту себя хлопает. Пошли мы с ним в овраг. Раза три, лебо, ходили. Выучился я побудку играть, еще чего и — трубачом служба пошла. — Рассказывая, дед прихлебывал, как чай, из граненого стакана конфетный самогон — подарок-гостинец от сына.

Я ни разу не слышал от него ни ругани, ни грубости, ни иных богопротивных слов. К концу лета он захандрил-занедужил, перестал принимать пищу, убрались висюли грыж, обрезалось лицо. Так смерть не спеша вынимала из тела его светлую настояще русскую душу. Осенью Макара Павловича схоронили.

Умер дедушка, когда эти, думая, как те, до них, зная, как те, что и как лучше для народа, сменили флаг и герб. С новой силой зазвучали догматы «старой веры», разрушающие начала Царствия Небесного внутри слабого: купи и продай. Затаенный дух корысти, пришедший на смену наивным, хаотично надерганным из Книги книг постулатам, прикрытый именем свободы, покажет себя невиданным разграблением одного из самых богатых государств мира. Пошлость толпы, ее дух грабежа быстро разложил и нравственность: философию, религию (да, да!), поэзию. Успокоив свою буржуазную совесть приобщением к духу черни, великие отказались от величия. Будущность человеческого духа сегодня под сомнением — *Главное* подменили суетным, повседневым. Хотя, — Россия и так из века в век приносит себя в жертву зав-

трашнему дню, забывая о том, что жить надо сегодня. И дедушка жил готовностью начать жить сегодня, но не выходило. Потому и прожил он жизнь свою не на «бело», а на «черно».

Возле отца, из восьмерых его детей, остался на всю жизнь в Андреевке один Михаил, которого я, не знаю почему, называл Крестным. Крестный жил неподалеку еще в одном ответвлении луговины. Хату с садом на склоне помог ему купить отец. Михаил был башковитый и, когда пацаном поступил в Воронежский железнодорожный техникум, отец поимел на сына большие надежды — половина деревни работала в колхозе, половина на железной дороге. Колхозники железнодорожникам завидовали. Но эти надежды не сбылись. Михаил приглядел в соседнем селе Князеве Марию. Ему стало не до учебы, и осел он, выучившись на шофера, в родной деревне плодить потомство.

Мужик он был крупный, ширококостный и сильный в отца. Подтягивая песни на вечеринках, густо басил, а в сильном подпитии, топчась неуклюже, пытался плясать. Свел меня Господь с Крестным после смерти его жены Марии как-то в вагоне поезда. Дядя Михаил не охал, не ахал, а шутил, называя жизнь досужей штукой.

— Поди, тяжело в деревне одному-то. Невестенку еще не присмотрел?

— Моя невеста давно уже ждет меня *там*, — махнул он неопределенно рукой...

Вскоре, после нашей встречи, ушел Михаил к невесте своей *туда*. Говорил он, как и все, говором андреевским.

О говоре особо бы поговорить — да что я знаю, кроме эмоционального. Говор этот еще называли гончарихинским, а саму Андреевку часто Гончарихой. Видно в каком-то из ответвлений протяженной на много километров луговины были и есть близко залежи гончарной глины. Или из-за ручья-речушки Гончарки. Вот вам и свои гончары, и свои кувшины из глины, имевшие спрос, говорят, даже в Индии, и не забытое названия села в прошлом.

Дедушкин отец Павел Семенович умер в тридцать седьмом, пряча в погреб от Вожака мешок зерна. Он ничего не знал о различии и превентивности государственного права над личностным. Прорвалась, как тогда говорили, «грысь». Старушки пошептались, похныкали, повздыхали у гроба, каждая думая о своем, помочили платки слезами.

Деревенская плакальщица затянула было привычное: «Ох, ды на кого ж ты нас...», — поворотив души присутствующих к небесам, от чего аж мороз ударил по коже, но на нее зашикали, прожгли взглядами «из-под тишка» и она смолкла, испуганно озираясь. Люди привыкали понимать взгляд, не пользуясь словом. Жизненные перемены происходили так стремительно, что физиологически человека на осмысление не хватало, и он, под воздействием защитной реакции, выпадал из действительности, продолжая существовать в прежних понятиях. Пугало незнание: как новые «власть» отнесутся к плачу по покойному и, исходя из того, что покойному уже не помочь, а им еще жить, решили хоронить молча. Слава Богу — покойничек пожил, и хорошо пожил, дай Бог каждому! Мужики просунули под гроб полотенца и снесли покойного на погост, а дедушка с семьей осел в родительской избе. Как говорили и говорят даже теперь о вернувшихся в родные места: сел на корень. Потом прилетел вражий самолет с крестами на крыльях и сбросил одну-единственную бомбу. Вместо заколоченной избы деда долго потом зияла пасть воронки, обросшая разнотравьем.

Война затребовала — как и многих мужиков этой деревни: правых и неправых, судей и судимых — Вожака на фронт. Перед войной организовал он снятие церковных колоколов. Погиб, говорила казенная бумага, смертью храбрых в первом же бою. Но известие о гибели не вызвало даже христианского сочувствия и сожаления. Никто в деревне не нашел в его гибели трагизма. «Бог прибрал за грехи», — единодушно

порешила деревня. «Каждое преступление мстит за себя на земле»,— скажет в свое время великий Гете.

Мой пра-пра-прадед Семен Стефанович, отец моего прадеда Павла, имел шесть детей, и каждый оставил в народе о себе памятное. Кирил зарубил топором покушавшегося на честь жены односельчанина — старики даже сейчас передают байки о красоте необыкновенной женщины,— отсидел за это два года. Иван был известным хлебопеком, и только ему доверяла деревня выпечку куличей на Пасху, да пирог на праздник. Федор — тем, что многодетен, Трофим и Андрей погибли на войне. Прадед Павел тоже не оплошал — кроме моего деда Макара, его дети: Егор — в 1944 погиб на фронте в поездной аварии; Павел проехал по фронтам на своей полutorке от Сталинграда, после упомянутой встречи с братом Макаром, до Берлина; Варвара жила в Андреевке; Марина в Малиновке с поэтичным Егором Андреевичем. Их сына Ромку и сегодня деревня помнит как безвинно убиенного. Наткнулся я как-то на узелок с поздравительными открытками. Егором Андреевичем написанные тексты были особенны — отличались витиеватым узорочьем предложений, фантазией и подчеркиком; Анна вышла замуж за Чикова Илью Леонтьевича. Запомнил его потому, что любил он с моим отцом попеть на два голоса русские и украинские народные песни, поговорить о житьи-бытьи. Дети Ильи Леонтьевича и Анны Павловны живут теперь в селе Стрелица. Но о многих из них ничего не знаю. Жизнь наша так устроена: пока были живы те, кто о них что-то знал, мне было не до этого...

Теперь же воспоминания все чаще и чаще приходят ко мне долгими ночами, когда тишина жилья сгущается до звона. А во тьме, там — во тьме за окном, тяжело возится ветер. И каждый звук отчетлив и обнажен. Они приходят. Они непрощенно врываются в сознание прожитым. Они обостряют сожаление о безвозвратно ушедшем. Они напоминают о греховном болью души. Они приходят радостью повтора счастливых минут. Желание же кому-то рассказать похоже на сохранение памяти об унесенном вечностью, об ушедшем.

Сам Семен Стефанович посадил сад, который позже назовут Акарачихиным. Сын его, Трофим Семенович, сад унаследовал. В жены, как это было принято, взял местную Татьяну, по случайности тоже Семеновну. В таких деревнях распространено поветрие на имена. То Семены, то Василии, то Митрофаны. Сегодня в остатках деревни все больше Василии из сороковых и начала пятидесятих, и все почти Митрофанычи.

Татьяна Семеновна с войны Трофима ждала всю жизнь. Как и большинство солдатских вдов, много курила. Народ дал ей подворную кличку — Акарачиха. Я кушал яблоки из Акарачихина сада.

КАРПОВЫ

Тетка вела меня от дома к дому, стучала в двери и окна: «К нам наш приехал, собирайтесь у отца... к нам с Родины приехали... к нам...». Я и сейчас не могу вспомнить это без волнения.

Бабушку все, и я тоже, звали Маришей. Ее настоящее имя — Марина — узнал взрослым, войдя, как говорят, в ум. На бабушку конституцией тела и чертами лица похожи моя дочь и внучка. Она не знала букв и не умела читать, но хорошо шила, обшивая нас и деревню.

Ее брата Семена Андреевича во времена коллективизации тоже раскулачили. Местная сельская гольтепа сочла его богатым и, пользуясь случаем, вытряхнула мужика и семью детьми на улицу, ограбив дочиста. Семен Андреевич быстро сообразил про холодные края, и пока местные опричники не одумались, исчез вместе с женой Ириной и детьми.

Говорят, когда жена Семена Андреевича проходила по деревенской улице, мужики, глядя ей вслед, шеи выворачивали. Беленов Агап, двоюродный брат Семена, открыто грозился, то ли в шутку, то ли всерьез, отбить у него жену. Каштановые косы Ирины вызвали подозрение у комбедовцев во время обыска. Они предположили, что в них спрятано золото и вознамерились углубить обыск. Решительный взгляд Семена Андреевича и топор в его руках заставили комбедовцев отказаться от своих намерений. Где-то в начале пятидесятых в Андреевку пришло от них письмо аж из Киргизии...

Я ездил туда в семьдесят шестом посмотреть. Село Аларча, куда с вокзала тогдашней столицы Киргизии подвез меня троллейбус, оказалось почти в центре тогдашней столицы Киргизии города Фрунзе.

Первый дом тетки Полины. Она меня, как и я ее, увидела впервые, и наверно поэтому долго разглядывала, ища знакомые черты. Потом вдруг как-то разом засуетилась, несмотря на ночь за окном: «Пойдем скорее к нашим, вот радости-то всем будет!». «Наших» оказалась целая улица. Тетка вела меня от дома к дому, стучала в двери и окна: «К нам родные приехали, собирайтесь у отца... к нам с Родины приехали... к нам...». Я и сейчас не могу вспоминать это без волнения.

Во дворе у небольшого, но аккуратного дома под осенней яблоней мы поджидали остальных. При свете лампочки над входной дверью разглядывал я подметенный двор, аккуратно расставленные грабли и разнокалиберные лопаты под небольшим навесиком, собачью будку в дальнем углу двора с высокой двухскатной крышей и резным балкончиком над лазом-входом, столик со скамьей у забора.

Полина Семеновна тем временем нашептывала: «Папа наш в первую мировую войну попал в плен к немцам. Оттуда привез привычку вставать и ложиться в одно время, пить кофе по утрам, жить строго по часам,— видимо, способствовали тому большие карманные часы со среднее блюдо, которые я успел разглядеть в его руке при появлении.— Там же освоил столярное дело. Вся мебель в его доме и в наших домах сделана его руками...»,— горделиво закончила тетка Полина, из чего я сделал вывод о глубочайшем почтении к родителю.

Прихожая, она же гостиная, она же кухня и зал с большим столом, диваном и резным кухонным шкафчиком на стене.

Только теперь и именно тут я понял причину раскулачивания Семена Андреевича афонинскими мужиками. Такой роскоши, как в его избе в Афонино, сотворенной его умелыми руками, мужики нигде и никогда не видели. Я потянулся было к газетам на журнальном столике. Полина Семеновна опять же шепотом предупредила: «У папы в одной стопке читанные газеты, в другой нет. Посмотришь, сложи все на место».

Собравшиеся родственники — молодежь и солидные тети и дяди с любопытством меня разглядывали так, будто во мне и через меня могли увидеть то, о чем неоднократно и много слышали здесь, среди чужого по духу и вере народа. Многие из женской части этого большого некогда семейства Карповых избрали родом деятельности педагогику. Кто-то дослужился аж до министерства образования в Москве.

Ждал распросов. Семена Андреевича более всего интересовали поля, дороги и оставшиеся вокруг Андреевки села. Вспомнил; где, за какими лесами были его посевы, что он сеял там, а что там, где какие были балочки и неудобья, где и куда ведут дороги, какие уже давно должны быть заасфальтированы, по его мнению... У него от этих воспоминаний так загорались глаза, что передо мной невольно распахивался тогда тот живой крестьянский мир, который мы потеряли, распахивалась та хлеборобская душа с трагедией ее отрыва от родных мест, от унаследованного дела предков.

Пожил Семен Андреевич хорошо. Примером всей своей жизни показал он своим потомкам, что значит держать собственную судьбу в узде. Потрудился и повидал много, дотянув почти до ста лет. Одна печаль: схоронен на чужбине где-то в девяносто пятом. От него я узнал, что его и бабушкин отец Андрей Игнатьевич тоже был

раскулачен, что умер в тридцать третьем от голода после Троицы. Ближайшей родней Карповых по бабушке остались в Афонино дети Никанора Антоновича, сына бабушкиного двоюродного брата Антона Игнатьевича, по подворью Зот. Жил он, говорят, за высоким забором подворья, а как — один Бог ведает.

Все думаю: не очень ли долго пришлось ждать вам, дорогие близкие и дальние родственники, — когда появлюсь на свет Божий я, когда выведу вас из небытия забвения хотя-бы вот так, дав возможность прозвучать вашим именам? Ведь передают же батюшке в церкви бумажку с упоминанием только имен. Считается, этого достаточно. Господь точно знает и отличает о ком идет речь. Слово, как материальное продолжение мысли, имеет и передает конкретный образ от передающего через посредника в храме послание Богу. И не потревожил ли я вас своим вмешательством в ваш вечный покой?

Австралийские аборигены верят — их предки живут в живущих благодаря особой дощечке-амулету, который они берегут и передают из рода в род, называя его чурингой...

* * *

Проемы окон избищенского вокзала заложены кирпичом. Вокзал кажется уснувшей пушкинской головой из «Руслана и Людмилы» на плечах перрона, заросшего теперь кудрями бурьяна и кустарника. С торца вход. Дверь выбита, пол выломан. Со стен свисают остатки проводки. Старые и новые надписи. А куда ж нам без надписей, показателей грамотности населения, — им даже стены и заборы отдали на земле. «Хочу бабу от двадцати до сорока», — выцарапано навечно, скорее всего куском железа. Телефонный номер и подпись хотельца: «Юра». И еще много каких автографов и просто свидетельств — здесь был или были... подписи и даты.

ПОМНИТСЯ

Но время размывает и эту границу, подводит к краю бытия земного. И тогда во всю мощь звучит в теле человека музыка бездны. Нет матери, нет отца... и люди, усомнившиеся в Божьем, остаются на земле без присмотра. Чур, меня, чур, — огорждает человек душу свою от напастей...

Лет пять мне было, когда тетка Рая взяла меня с собой в Андреевку «папашку» проведать — дедушку Макара, значит. Рано утром с зевками и утренней дрожью вошли в вагон. Освещался он несколькими керосиновыми фонарями над дверными проходами. В его многочисленных углах таилась тьма, сильно пахло «курным» углем. Не прохладно, а холодно в вагоне было до «сучьей дрожи». Станция Нижнедевицк, откуда мы отправлялись в гости, была и есть крайняя граничная точка воронежской области на западе. Видно, здесь вагоны ночью отстаивались. Но и, как не крути, это место моего рождения.

— Чур, чур — не я, — звучит памятью детства, звучит далеким эхом русское языческое божество границ. Оно навсегда засело в языковой и генной памяти. Чур! — и замри. Ты огорожен, ты — вне. Как бы ни хотели тебя тронуть — не могут.

— Чур, я не играю, — звучит из детских игр...

— Чур! — от рождения охраняет, оберегает граница Родины. В минуту торжества, в минуту печали добавляется к слову «Родина» высокое слово «Мать» и вместе они обретают мощь и широкое звучание.

— Чур! — место рождения со своими оврагами, перелесками, полями, домами, лицами соседей, своим небом и солнцем... О, если б можно было провести границу вокруг души, спасти ее от греха!

— Чур,— и: прапрабабушки, прапрадедушки, знакомые и незнакомые, светлыми тенями уже скользят меж деревьев, слышатся во вздохах высоких трав, в шуме ветра, видятся в плясе огня, книжками на полках, живы в преданиях...

— Когда тебе приспичило появиться на свет,— говорил дедушка,— темень стояла — глаз коли. Как во времена потопа лил дождь, и на дороге — ноги не вытащить! Запряг я тогда с «общественного двора» кобыленку и повез. Mamka твоя охает, телега вязнет, лошадь не везет... Так было дело! — задумчиво поглаживая мои вихры, вспоминал дед.

— Чур! — бабушки, дедушки пылинки сдувают, упасть не дают, души не чают: балуют игрушкой, сладостями, полны умиления и радости. Эта граница падет первой, успев смутно задержаться в памяти. И только потом, в зрелости осмыслится глубоко и с грустью — так на земле чередуются поколения.

— Чур! — остается последняя засечная черта: отец и мать...

Слово «мама» соткано из звуков, впервые произносимых еще ничего не понимающим младенцем. Проснувшись в своей люльке, он судорожно вытаскивает ручки из пеленок, колотит сжатыми кулачками воздух, морщит личико и закрытым ротиком тянет: м-м-м. А потом, разомкнув губки и пуская пузыри голода: а-а-а! На зов, на крик малыша спешит она. Губки слепо ищут заветное и, найдя, с причмокиванием, вздохами облегчения тянут, тянут соки жизни — материнское молоко. Она клонит к нему голову и тихой улыбкой рафаэлевой Мадонны излучает радость, бесконечную радость материнства. Ребенок, не выпуская соску, устало засыпает. Он ощущает толчки ее сердца, ее дыхание: она тут, она рядом и причин для беспокойства нет. Малыш судорожно втягивает в себя воздух, успокаиваясь от своих еще не осмысленных переживаний и страхов, чмокает уже во сне губками. Ее тихий ласковый голос убаюкивания услышится потом в шуме ветра, в шорохе листвы и, спустя много-много лет, будет опьяняюще кружить голову воспоминанием: где и когда слышалось это?..

Лежу с открытыми глазами. В тревожном шуме ветра слышатся зовущие голоса. Явственной других — мамин. Она зовет меня к себе по имени. Так давным-давно она звала меня с порога. Солнце тогда светило ярко-ярко и радостно, дни были длинны-ми-преддлинными, а ночи — почему-то короткими, ноги же быстрыми, плоды сладкими, мысли легкими. И ветер не шумел так тревожно за стенами.

От матери и отца берешь начало жизни. От них все, чем располагаешь на земле: черты лица, походка, цвет волос, цвет глаз, голос, интонация, говор, наклонности и привычки. От них на всю жизнь! Но время размывает и эту границу, подводит к краю бытия земного. И тогда во всю мощь звучит в теле человека *музыка бездны*. Нет матери, нет отца... и люди, усомнившиеся в Божьем, остаются на земле без присмотра. Чур, меня, чур — ограждает человек душу свою от напастей.

На склоне лет мама, как и все мамы, долгими вечерами рассказывала мне о прожитом. Рассказы ее имели свое особое значение, значение прожитости: бесконечно светлые детские хлопоты, тряпичная кукла, дорога в школу, война, работа... — вариант раз и навсегда. Это ее, а точнее — это их неповторимое ощущение земной жизни. Оно ушло с Ней и с Ними, чтоб никогда уже не повториться. А слова о коммунизме, которыми успели пожить несколько поколений, а миллионы успели отдать за них жизнь,— позабыты. Был ли в этом прок и смысл? Ведь уроки чужой жизни не впрок. Это частности уже совсем иной жизни. Они не могут научить потому, что даже похожее проживается всякий раз по-своему. Они только напоминают события как вариант.

В Избище вокзала я не увидел. Стоял длинный приземистый железнодорожный вагон без колес с множеством надписей у лючков и решеток на немецком языке. Из трубы на крыше клубами вываливался дым, растекаясь в чахлой растительности за «вокзалом». Так же, как и в вагоне поезда, на улице сильно пахло курным углем. Через поле по «косовой» тропке пошли к деду.

Невозможно привыкнуть к неоглядному простору зимнего поля. Восторг и трепет охватывают человека при виде бесконечного снежного блеска равнины — под солнцем ли, под таинственной луной ли, когда ночной морозец бодрит, а голоса и скрип снега под обувью редких путников разносятся далеко окрест...

Я и до этой поездки неоднократно гостил у бабушки с дедушкой. И на печи у них спал. Дедушка тогда поднимался «ни свет, ни заря», — так говорила бабушка, — шарил на столе «серники», шуршал коробком. Спичка, прошипев серой, загоралась и из тьмы проступала его фигура. Большие мохнатые тени жутко вползали на стены. Проступал большой стол под керосиновой лампой. В углу над лавкой отсвечивали стеклом и сусальным золотом образа. Резкий запах серы растекался по избе.

Я тогда с трудом понимал, что дедушка — мамин папа, что бабушка — мамина мама. И дедушка, и бабушка, и мама, и папа мне виделись так, будто они не рождались, а такими были и будут всегда. Мироустройство казалось простым и понятным: с ограниченной территорией, с ограниченным кругом лиц. Значительно позже, прочтя горы книг, понял, что жизнь отца, жизнь матери, жизнь дедушки — это и есть мое. Это я своим рождением обязался в себе нести жизнь отца, а отец нес в себе жизнь своего отца... это и есть *мои* нашего рода. Потеря моего и моих страшнее смерти потому, что от них и у них взял я себя взаймы, и долг мой вечен и неоплатен.

Дедушка, с горящей спичкой в руке, снимал с лампы «пузырь». Подоженный фитиль выбрасывал длинный коптящий язык пламени. Дедушка прилаживал «пузырь» на место. Пламя выравнивалось, наполняя жилье запахом керосина и желтого света. В углу возле лохани поднимался телок. Повернув голову к свету, он, пережевывая свою жвачку, долго смотрел огромными глазницами на лампу. На пол шуршала струя. Дедушка, подхватив посудину, ладил ее поймать.

После событий коллективизации, при случае, дедушка упивался деревенской сивухой до бесчувствия. И никогда не молился. Мама с папой тоже не молились и икон, в отличие от дедушки, в доме не держали, поэтому я так и не узнал: что такое вера, что такое молитва. И это, несомненно, было волей Божьей. Наверное, обращение к Богу в этих условиях было бы кощунственным.

Дедушка у раскрытого зева печки ломает через колено прутья хвороста. Сухие хворостины звонко щелкают, сырые гнутся. Он заталкивает хворост в топку печи и, подложив бумажку, поджигает. С треском ворчит огонь. Телок, не переставая жевать, переводит взгляд с лампы на дверку печи. Пробившись сквозь щели, отсветы пламени пляшут на стене и в глазах животного.

Дедушка сдвигает на плите кружки и бросает на огонь куски кизяка. Ключья едкого дыма, приглушая свет лампы, стелются на полу и поднимаются к потолку. Зябко и неуютно на печи. Я кутаюсь с головой и засыпаю...

Возвратившись, мы ожидали в этой вагон-приспособе под вокзал поезд. На лавках у стен сидели люди. Много людей. Пламя из железной печки через плохо прикрытую дверку косо высвечивало сомлевшую женщину на лавке с ребенком на руках, большую потемневшую от старости корзину с вещами рядом. В вагоне жарко натоплено и сильно накурено. Свет от керосиновой лампы на стене едва пробивал синеватую пелену махорочного дыма. Мужик из дальнего темного угла басисто «гнал» байку: «Заходит, раскудрит-твою-железо, в наш вокзал царь наш Петр со свитой. Проездом на Воронеж тут оказался, и удивляется, раскудрит-твою-железо: ну и избища у вас тут! Так, вот, с тех пор, раскудрит-твою-железо, название станции и пошло».

Избище — был один из глухих железнодорожных полустанков. Мимо днем и ночью шли поезда. Иногда поезд останавливался и, громко закачивая воду паровым насосом в котел, ждал встречный. Дядька в форменной фуражке шел вдоль состава с молоточком на длинной ручке — где-то постукивал, куда-то заглядывал. Проходил встречный поезд. Далеко-далеко высокий семафор поднимал «руку». Ревел гудок. Паровоз окутывался паром. Выбрасывая в небо столб смеси дыма и пара, состав ухо-

дил за семафор. Я никогда не был за семафором, а поезда шли и шли за семафор. Однажды, когда очередной состав остановился в ожидании встречного, я решил уехать туда, за семафор.

Снял меня с тормозной площадки дядька в фуражке с красным верхом.

— Ты куда ж это собрался? — спросил дядька.

— За семафор, — ответил, показывая рукой на семафор, я.

— За семафором переезд, но поезда там не останавливаются, — сказал дядька в фуражке с красным верхом.

Так закончилось мое первое путешествие к недостижимому и потому загадочному, и потому необыкновенно притягательному. Именно оно, не пережитое, держит человека на земле, определяет цели и мотивы порой самых загадочных поступков, одухотворяет и обожествляет мир и мироустройство. Здесь берут свое начало сказки и необыкновенные музыкальные мелодии, высокие стихотворные строки. Горе тому, кого не снимут с поезда, и он доедет до переезда и увидит — нет тут ничего из того, что приходило фантазиями, не давало спать, увидит те же стальные рельсы и привычную обыденность даль.

* * *

Стану я иногда вот так возле железнодорожного полотна, посмотрю в одну сторону на убегающую блестящую сталь рельсов, в другую — и понесет меня то в недавнее прошлое, то в далекое...

На запад железной дорогой через Курск можно добраться до матери Руси Киева, на восток через Воронеж до Москвы. На сохранившихся постройках в Воронеже и на станции Нижнедевицк видны еще металлические пластинки с датой — 1895 год. Наверняка и в других местах железнодорожной ветки есть казенные старинные строения. Постройки эти больше порушены или заброшены. Дата — год завершения строительства ЮВЖД. Дирижировал процессом строительства дороги незаслуженно запечатанный Сергей Витте. Это он без связей, с одним голым дворянством, благодаря только своей светлой головушке, поднялся при царе Александре Третьем до директора департамента железных дорог в Министерстве финансов, предварительно пройдя железнодорожную науку от проводника, кассира, стрелочника, станционного дежурного, помощника машиниста в Германии до начальника движения Одесской железной дороги при Александре Втором. Наверно и вот тут постоял он, наблюдая за работой рабочих — все может быть...

Вправо полотно дороги сильно поднято, а место в несколько километров названо жителями Выемкой. Прикрою глаза и вижу мужиков, везущих землю в тачках, мастеровых и начальство вижу. На подъеме полотна нанимались Андреевские, Ореховские, Ольшанские и Лесополянские мужики. Они взвозили по дощатым настилам землю в тачках наверх. Там высыпали. Родилось и навсегда осталось название — насыпь. За насыпью Круглый лес, говорят, а за Выемкой земляники видимо-невидимо! Но эта часть железнодорожного полотна была пущена в эксплуатацию в середине тридцатых при Советской власти, а до этого оно проходило где-то на километр южнее, у расположившегося в ложбине села Мисеевка. Вокзал же был построен в самом начале тридцатых. Видно, проектирование переноса полотна севернее вызвалось очень глубокими впадинами с крутыми откосами у самого полотна.

Многие мисеевские пацаны были моими одноклассниками. Колоритного мисеевского учителя начальных классов Сабынина Николая Ивановича до сих пор помнят приезжающие в заброшенное село местные. Вспоминают: был учитель Николай Иванович и председателем местного народного суда. После обсуждения недостойного поведения сельчанина, зачитав решение суда, поднимал здоровой рукой и ронял он на стол отсохшую после ранения на фронте руку, добавляя, — Решение окончательное, обжалованию не подлежит!

Радует и поднимает дух наличия мощи и таланта таких людей на Руси! Вот Иван Беленов — дедов односельчанин — становится за дирижерский пульт, вот царь Александр Третий, в качестве ответа на каверзный вопрос австрийского посла, завязал узлом и бросил на тарелку стальную вилку, вот дед мой после Сталинграда бежит из немецкого плена, вот Столыпин организовал переселение крестьян в Сибирь, открыв крестьянский банк, вот дед Семен бежит в Киргизию, чтоб не попасть в холодные края, вот Витте в очередной раз спасает Россию — Портсмутским миром заканчивает войну с Японией. Это недавнее прошлое так звучит во мне невидимыми колоколами.

Выхожу я теперь из своего дачного домика на простор за железнодорожную лесополосу и гляжу окрест. По дальним холмам зелень леса, высокое — то голубое и солнечное, то серое и хмурое — небо над полями. Через ближнее поле в луговину сбегавшая когда-то от станции косовая, давно запахана и никто ее больше не протаптывает.

Когда-то, в той жизни и той реальности, тропка ручейком сбежала от полустанка. Вела она через поле, через шелест на ветру: то кукурузы, то подсолнечника, то пшеницы. По таинственным поворотам сказочным клубочком разматывалась под ногами идущего и неожиданно вливалась в деревенскую улицу крыш, окон, печных труб, крылечек, лавочек, сараев, колодцев. Отовсюду плыли запахи! На всю оставшуюся жизнь сохраняются они во мне памятно ароматом жженого кизяка, печеного хлеба, молока. Гомон детворы мешался с коровьим ревом, козьим бляньем, квохтаньем кур, которые бочком зарывались в пыль на дороге. Потрясенные приближающимися шагами, они очумело схватывались с места и, бестолково хлопая крыльями, неслись к своим дворам. Разморенные солнцем, в траве блаженствовали псы. На звук шагов они поднимали морды и, после ленивого «гав», в изнеможении опускали носы в траву.

Нет дедова дома внизу, нет и колодца. И дома Акарачихи напротив нет. И всего-то на улице за дедовым помещьем один дом жилой. Коля в нем живет. Молодым уехал на Север рыбу ловить. Да так заловился, что и жениться не успел. А теперь, говорит, ни к чему. Дальше, через большой разрыв, дом Василия Константиновича, еще на этой стороне дом, теперь уже покойного, Ивана-Гвоздя...

Цел пустой дом с надворными постройками покойного дяди Михаила. Растет на этой улице бурьян выше роста человеческого, да слышатся иногда проклятия изредка навевывающихся сюда некогда местных жителей в адрес разорителя России «царя» Бориса. В безветрии тишина здесь стоит до звона...

А я стою на перекрестке трех дорог, любуясь раскинувшимися далями, да слышу, как из-под земли призрачные колокольные звоны доносятся, и в одном нахожу для себя утешение: вижу я все это глазами отца и матери, глазами дедушек моих и бабушек. Не потерять бы только мое, думаю! Ведь через мою память и их жизнь продолжается.

Кстати: в 1859 году в селе было 365 дворов, в которых проживало 3450 человек. В 1900 г. в селе было 5292 жителя, 869 дворов, 1 общественное здание, 2 школы, водяная мельница, 2 рушки, маслобойный завод, 6 мелочных, 2 винные лавки, 2 ярмарки. В 2007 г. численность населения села Избище составляла 152 человека. Хорошо, если на сегодня осталось человек 30 — 50. Хватимся вот так, а вместо нас, русских, будут по России разгуливать полукровки «аевы» (отзвук тех фамилий), как во времена Батыева нашествия...

